

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

№12-1927г.



Изд. - 80
«П.П. СОВКИН»
Ленинград

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ

ВЫХОДИТ
ЕЖЕМЕСЯЧНО

ПОДПИСНАЯ
ЦЕНА НА ГОД 5 РУБ.
С ДОСТ. И ПЕРЕС.

ГЛ. КОНТОРА И РЕДАКЦИЯ - ЛЕНИНГРАД, СТРЕМЯННАЯ 8
ИЗДАТЕЛЬСТВО «П. П. СОЙКИН»

СОДЕРЖАНИЕ

№ 12 — 1927 г.

	СТР.		СТР.
Присуждение премий на Литературном Конкурсе «Мира Приключений» 1927 года.		«СЕКРЕТ ИНЖЕНЕРА КНАКА», — рассказ В. В. Рюмина, иллюстр. Н. Ушина	45
1		«РАДИ ПРИХОТИ», — очерк иллюстрациями и фотографиями с натуры	54
АВТОБИОГРАФИИ И ПОРТРЕТЫ писателей, получивших премии	3	«ГЛУБИНА МАРАКОТА», — новейший научно-фантастический роман А. Конан-Дойля, иллюстр. Т. Педди	58
«АССЕПСАНИТАС», — фантастический рассказ Д. Панкова, иллюстрации С. Лузагова	10		
«ШУМ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ», — рассказ Б. Никонова, иллюстрации И. Владимирова	25	«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ»:	
Систематический Литературный Конкурс «Мира Приключений» 1928 г. — Рассказ задача № 1 «ГДЕ ВЫХОД?»	30	«ПОСЛЕЗАВТРА ЧЕЛОВЕКА», — очерк доцента С. В. Гольдберга, с иллюстрациями	70
Условия Литературного Конкурса 1928 года	39	«1—2—3—4—5», — очерк инж. Т. Д. Павлова с чертежами	75
«В НЕДОСТОЙНОМ ТЕЛЕ», — повелли Луиджи Пиранделло, с итальянского пер. Е. Фортунато, иллюстр. Н. Кочергина	40	«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!»:	
		Задачи №№ 67, 68	44
		Решения задач №№ 67, 68	74

Обложка работы инж. Т. Д. Павлова.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Журнала „МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ“ 1927 года

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ

Протокол открытого заседания Литературно - Научного Жюри Конкурса

16 декабря 1927 г. в 12 ч. дня, в помещении Всероссийского Союза Писателей состоялось открытое заседание Литературно-Научного Жюри Конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, АКАДЕМИК С. Ф. ПЛАТОНОВ, в кратком слове охарактеризовав громадную потерю, принесенную русской литературой в лице скончавшегося 5 декабря Члена Жюри, писателя Федора Кузьмича Сологуба, предложил почтить память его вставанием.

Ближкий знакомый покойного, **ЧЛЕН ЖЮРИ**, литературный критик **Р. В. ИВАНОВ - РАЗУМНИК** сообщил, что работа Ф. К. Сологуба по чтению рукописей и составлению отчета о Конкурсе (№ 8 «Мира Приключений») была последним литературным трудом почившего.

ЧЛЕН ЖЮРИ В. А. БУНДИ доложил, что Редакция журнала «Мир Приключений» приносит в дар Пушкинскому Дому Академии Наук, где хранятся рукописи почившего писателя, его маску и сепок руки, снятые под руководством художника **К. С. Петрова-Водкина**.

АКАДЕМИК С. Ф. ПЛАТОНОВ заявил, что в качестве директора Пушкинского Дома живейшей признательностью принимает этот дар.

Затем Жюри проверило произведенный Особой Комиссией, при участии Членов Жюри и представителя группкома Союза Печатников, **т. С. И. Иванова**, подсчет полученных от читателей журнала баллотировочных бюллетеней. Каждая карточка-бюллетень, содержавшая десять приговоров читателя, вслед за получением, распределялась по десяти графам в особой ведомости. Этот кропотливый статистический труд, отнимавший много времени, обладал зато двумя существенными преимуществами: во-первых, совершенно уничтожалась возможность случайных ошибок при механическом подсчете голосов непосредственно с карточек, и, во-вторых, работа велась à jour, и, следовательно, контроль правильности подсчета и проверка результатов не представляли уже никаких затруднений.

По совершенно точному подсчету баллотировочных бюллетеней премии распределяются в следующем порядке:



Ф. К. СОЛОГУБ.

1-я премия большинством 250 голосов присуждена читателями рассказу по регистрации № 176; 2-я премия большинством 72 голосов—рассказу № 28; 3-я премия большинством 63 голосов—рассказу № 802; 4-я премия большинством 71 голоса—рассказу № 19; 5-я премия большинством 52 голосов—рассказу № 700; 6-я премия большинством 61 голоса—рассказу № 198; 7-я премия большинством 61 голоса—рассказу № 784; 8-я премия большинством 66 голосов—рассказу № 212; 9 премия большинством 63 голосов—рассказу № 473, и 10-я премия большинством 120 голосов—рассказу № 361.

Конверты с именами премируемых авторов, разложенные в особых коробках, в порядке регистрации рукописей на Конкурс, и снабженные номерами, соответствующими номерам рукописей, были осмотрены Жюри и найдены запечатанными и в полном порядке. По вскрытии конвертов и сличении хранившихся там названий произведений и девизов с напечатанными при самих рассказах—никаких ошибок и неправильностей не оказалось.

Таким образом, по суждению читателей «Мира Приключений»,

1-Й ПРЕМИИ В 1.000 РУБЛЕЙ удостоивается В. В. СИПОВСКИЙ, автор рассказа «СИЛА НЕВЕДОМАЯ».

2-Й ПРЕМИИ В 500 РУБЛЕЙ удостоивается Л. В. СОЛОВЬЕВ, автор рассказа «НА СЫР-ДАРЬИНСКОМ БЕРЕГУ».

3-Й ПРЕМИИ В 300 РУБЛЕЙ удостоивается И. И. МАКАРОВ, автор рассказа «ЗУБ ЗА ЗУБ».

4-Й ПРЕМИИ В 300 РУБЛЕЙ—Б. П. ТРЕТЬЯКОВ, автор рассказа «ЗОЛОТО».

5-Й ПРЕМИИ В 200 РУБЛЕЙ—К. С. АНКУДИНОВ, автор рассказа «СТАРЫЕ МЕРТВЕЦЫ».

6-Й ПРЕМИИ В 200 РУБЛЕЙ—В. В. БЕЛОУСОВ, автор рассказа «ТАЙНА ГОРЫ КАСТЕЛЬ».

7-Й ПРЕМИИ В 200 РУБЛЕЙ—В. Д. НИКОЛЬСКИЙ, автор рассказа «ЛУЧИ ЖИЗНИ».

8-Й ПРЕМИИ В 150 РУБЛЕЙ—В. Е. ГРУШВИЦКИЙ, автор рассказа «ИЗ ДРУГОГО МИРА».

9-Й ПРЕМИИ В 150 РУБЛЕЙ—А. К. САПОЖНИКОВ, автор рассказа «АКИМ И МИШКА» и

10-Й ПРЕМИИ В 150 РУБЛЕЙ—М. Д. ЧЕРНЫШЕВА, автор рассказа «КРАПИВА».

Оглашение имен авторов сопровождалось аплодисментами.

ЧЛЕН ЖЮРИ П. П. СОЙКИН заявил, что с завтрашнего же дня в Главной Конторе Издательства начинается выдача ассигнованных Издательством «П. П. Сойкин» на Литературный Конкурс и присужденных теперь читателями премий в сумме 3.150 рублей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ доложил, что Конкурс вызвал громадное количество письменных заявлений в Жюри и Редакцию журнала. Этот писательский и читательский отклик заслуживает внимания и рассматривания. Нельзя пройти мимо некоторых отрицательных явлений, обнаружившихся при обращении к читательскому сулу. Подробное ознакомление с баллотировочными карточками прежде всего показывает, что значительная часть читателей совсем не подала своего голоса. Далее, некоторые из тех, что заполнили бюллетени, на ряду с премированными рассказами поместили в различных графах, вместо премируемых, названия других беллетристических произведений, печатавшихся в журнале, и даже научно-популярных очерков. Этим, конечно, читатели выражали свои вкусы вообще, и их мнения, вероятно, будут приняты в соображение Редакцией. Но одновременно эта группа доказала здесь, что она невнимательно отнеслась к своей задаче, так подробно разъясненной в журнале при рассылке бюллетеней, и пренебрегла не только объемом, но и сущностью предоставленного ей ответственного права судьи. Иные, черес-

чур практичные читатели, предпочли использовать свои бюллетени в качестве обыкновенных почтовых открыток для сношений с Издательством по различным поводам. Наконец, как курьез, нельзя не отметить несколько типичных случаев рассеянности: отправки с маркой, но совершенно не заполненных и не подписанных бланков.

Но все перечисленные категории ответов, вместе взятые, тонут в общей массе совершенно правильно заполненных бюллетеней, свидетельствующих что читатель отнесся к своей задаче серьезно, вдумчиво и в высшей степени добросовестно. Очень многие не ограничивались краткой, цифровой подачей голоса, а добавляли свои мнения и суждения, часто в виде отдельных писем, сопровождающих карточки. Два основных мотива преобладают в этих заявлениях: с одной стороны—признательность Редакции за организацию Литературного Конкурса, и Жюри—за его работу, с другой стороны, сожаление, что Конкурс не выявил в результате ни одного большого таланта. Весьма многие выражают недоумение, почему Жюри, убедившись, что на Конкурс не поступило первоклассных произведений, что ни одно из присланных не заслуживает 1.000 рублей, почему Жюри не разбило первую премию на две, не перераспределило остальные премии так, чтобы, при той же общей сумме, предназначенной на премии, премий было не 10, а 12, 14, 15 и даже 20. Относительно цифр количества премий мнения разбиваются.

Жюри считает необходимым разъяснить, что в основе этих, на первый взгляд, быть может, и кажущихся справедливыми сетований, лежит явное недоразумение. При конкурсах обычного типа, где последнее, решающее слово принадлежит самому Жюри, оно вправе — и нередко случается, что так и бывает,—не признать ни одного из конкурентов заслуживающим первой премии и своею властью разделить ее между несколькими лучшими соискателями, увеличив число премий. Здесь, в нашем Конкурсе, задачей Жюри было только отобрать из 810 допущенных рассказов 10 лучших по сравнению с остальными, не нуждающихся в существенных переделках, и представить эти 10 на суд читателя. Вопрос, поднятый теперь читателями, обсуждался своевременно Жюри по его собственной инициативе, но оно ни юридически, ни этически ни признало возможным нарушить основное и главнейшее из условий Конкурса и тем самым присвоить себе новые права и ущерб правам читательского коллектива, которому, по мысли организаторов Конкурса, единственно и сполна принадлежит власть решения. По существу, однако, мысли Жюри и читателей сходятся. Ведь, в отчете Жюри, напечатанном еще в Августовской книжке журнала, было заявлено, что «яркого, блестящего таланта громадный Конкурс не был в состоянии выделить», но что у некоторых авторов заметны природные способности и дарования.

С чувством нравственного удовлетворения Жюри не может умолчать, что среди множества писем, полученных от самих авторов отвергнутых произведений, писем искренних и скорбных, дышащих глубоким огорчением и разочарованием, есть не мало с выражением благодарности Жюри, по мнению корреспондентов, за «большую и трудную работу», и сожаления, что она была отягчена для Жюри небрежным отношением к делу самих писателей. Один из неудачников восклицает: «810 рассказов, кое-как написанных, лишь бы послать скорее. Ведь, это 50 больших томов, не книжек, а томов! И это перечитано, продумано Жюри. Как мало и плохо я, да и другие работали, а шли на Конкурс! Тогда и не задумывались, какое большое дело делалось». Приговор—суровый и по отношению ко многим авторам в известной мере справедливый. К чести русской общественности следует упомянуть, что из громадного количества авторов нашелся всего только один, разразившийся грубым, бранным и полным угроз письмом за то, что его произведение не премируется.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ привнес глубокую благодарность Жюри за его труды, завершённые так блестяще в короткий срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявил Литературный Конкурс журнала «Мир Приключений» 1927 года законченным.

— Как и было уверено Жюри,—сказал АКАДЕМИК С. Ф. ПЛАТОНОВ,—авторами премированных рассказов оказались в подавляющем большинстве начинающие писатели. Поздравляя с успехом, выпавшим на их долю, Литературно-Научное Жюри выражает пожелание, чтобы этот удачный шаг не явился для них последним, чтобы они не остановились на нем и честно, и бодро прошли трудовой литературный путь.

Подлинный подписали: А. ПЛАТОНОВ. — Б. МОДЗАЛЕВСКИЙ. — Р. ИВАНОВ-РАЗУМНИК.—А. ГОРЛИН.—В. БОНДИ.—П. СОЙКИН.

АВТОРЫ О СЕБЕ:

Три автора не сообщили своих биографий: В. В. Сиповский (Профессор Ленинградского Университета, сам окончивший его в 1894 г.); М. Д. Чернышева, в конверте с девизом не обозначившая даже своего адреса, и К. С. Анкудинов. Автобиографии и портреты остальных писателей, получивших премии, печатаются ниже.

А. В. Соловьев,

автор рассказа «На Сыр-Дарьинском берегу», получивший 2-ю премию.

Родился в 1906 году в г. Триполи (Сирия), где отец учительствовал в русско-арабской школе. Лет пяти был увезен в Россию, в Самарскую губернию, где и протекло сознательное детство.



В 1920 году, спасаясь от голода, отец вместе с семьей переехал в Коканд (Туркестан). В Туркестане как-то случайно я начал писать в газете «Правда Востока» (первый очерк появился в ноябре 1923 г.). За короткий срок освоился с газет-

ной работой и в 1924—25 году работал уже как спец. корреспондент «Правды Востока».

Специальностью было — жизнь узбекской деревни — кишлака. Бесконечные разъезды по кишлакам и киргизским кочевьям дали громадный запас наблюдений. Между прочим, мне принадлежит честь собрания узбекского народного эпоса о Ленине (опубликовывалось в «Пр. Востока» и в «Красной Нови» № 6 1926 г.).

Первый рассказ «Месть» был напечатан в «Мире Приключений», № 9 за 1926 г. После этого послал на конкурс рассказ «На Сыр-Дарьинском берегу». До опубликования результатов конкурса в журнале «30 Дней» напечатали еще один мой рассказ из киргизской жизни — «Вор».

Кроме того, ряд киргизских и узбекских рассказов печатался в газете «Правда Вос-

тока» и в литературном приложении к ней «7 дней».

Служу учителем в фабзавуче Узбекхлопкома в Коканде.

Коканд.

Л. Соловьев.

И. И. Макаров (Ив. Буйный),

автор рассказа «Зуб за зуб», получивший 3-ю премию.

Родился в селе Салтыки, Рязанской губ.

Один бывший офицер, ныне успевший в карьере, сказал мне как-то:

— Меня мать родила, когда корову доила.

И мне стало приятно, что я не попал прямо из «Лазоревого царства» в такие страхи.

Меня мать родила очень хорошо: в избе, на полу, на свежей соломе, как в остальных семерых

Мало того, я — первенец, и мать уверяет меня, что я вырос «на ладонке», т. е. взлелеян в детстве.

И это — правда. У меня в детстве была одна игрушка, ни в чем не уступающая городским: полированная ложка от шомпольного ружья, сломанная в шейке. И вот документ, подтверждающий высокое качество игрушки: взрослый пастух и то не устоял перед соблазном и, завладев ложей, компенсировал меня кнутом, «гаркающим, как пушка»...



Это говорит мать (сам я помню ложу еле-еле, то ли у меня была, то ли нет).

А дальше запомнилось на век вот что.

Первым запомнилось одеяло. Яркое, спи-тое из разноцветнейших лоскутов, оно — как бы эмблема моего детства.

Вот:

Я нашел маленький, складной нож, сделанный из косы. Он, вероятно, пролежал зиму и весну — сильно заржавел. Обрадованный находкой, я схватил его, но тут же бросил.

Кто научил меня суевью? Будто: нож поднимешь, рука отсохнет...

(Теперь-то мне понятен великий смысл этого поверья).

Потом в воспоминание вмешался отец:

Я знал, если в пыльную завитушку выхря воткнуть нож (в землю), то он будет в крови — «врага, де, зарежешь». Как получилось — не помню. Должно, я рассказал отцу. Только, однажды, выхрило на улице и отец предложил мне, подавая сапожный нож (он из первых — сапожник по селу):

— На, поди и воткни!

Я послушался.

... Вспоминаю и иной клочек детства:

Мать и отец шепчутся. Мы с сестренкой лежим на полу. Я до боли в ушах прислушиваюсь, дерзая узнать секрет родительский:

— А их на кого оставишь? — мать о нас.

Отец гудит громко, но певнятно.

Я чего-то жду. Глухая темь. В окнах звонко бьются мухи...

Вдруг ночь багровеет, полная заревом. Жутко, задыхаясь, лает набат... Загорелись князьки (кн. Трубецкого) риги.

В то время мне было пять, а родился в 1900.

И другой клочек из той же материи:

В Ряжске площадь у тюрьмы большая. Сажу на телеге. Сухощеная «гнедуха» жует сухую, колючую траву — вику. Во рту у ней шуршит и я думаю: «почему Гнедухе дают овес только в яровой сев»? Но подходит мать, плачет, словно спешит выплакаться перед «свиданьем» (слез он не любит, отец).

В одеяле было много красных лоскутов, а в детстве — вот таких.

... Стражники вот тоже, приезжали — проныры. Глядеть на них — нарядные, а кулаки так и сучат...

Э! Один раз хотели мы их... с дядей Андреем (в те поры ему 8 было). В амбаре мы их решили, и спички у нас имелись... Не испугайся мы к амбару подойти — сгореть бы стражникам!

Вероятно, поэтому с 1918 я «сочувствующий», а с 1920 — член ВКП (б).

Остальное, если теперь взглянуть, все хорошо.

Окончил Ряжскую гимназию бесплатно (так ни гроша и не заплатил!). Да и детство вовсе не плохое. По крайней мере, когда мы наступали на «Павловку», или на «Самарино» — я жалел, что мне 19.

С 1920 моя история — история партийца-активиста «губмасштаба». Одинаковая со всеми.

Теперь — пишу. Пописывал изредка и раньше. Изредка. Лет, эдак, в пятнадцать, «романище» в две тетради написал. Правда,

«критик» (мой одноклассник) разделал меня «под орех»: назвал Саптыковским Дон-Кихотом, а коня, Моро (на нем я скакал в романе по буйно расцветшему лугу) окрестил напсквернейшей клячей.

Зато словеснице Пушкиревой, в гимназии, «роман» понравился.

Рассказ «Зуб за зуб» писал в Красноярске. Это — мое вступление в литературу.

В 27 году приготовил к печати роман «Поганая застава». В нем, на фоне туго, но верно перестраивающейся деревни, изображено хулиганство, используемое кулачеством.

Над ним работал 10—11 месяцев. Роман полегит еще с месяц. Пусть «отлежится» перед окончательной шлифовкой.

Сейчас работаю над другим романом, из эпохи комбедов. В нем: буйный расцвет эсерствующей части деревни и бесплодная ее суть. Назвал пока «Пустодвет».

Читаю много, но страшно бесцельно.

Пишу почти каждый вечер (уж очень много заседаний!). Не брезгаю написать, иногда, даже полстранички.

«Я» литературный тоже попробовал: В 1924 сунулся к работнику «ГИЗ'а» т. Федорову с рассказом. Сказал: «Язык у тебя не затасканный, но...».

Вот тогда я и решил обойтись без этого «но».

Попробую!.. Надо работать!

Рязань.

И. Макаров.

Б. П. Третьяков (Владимир Норд),

автор рассказа «Золото», получивший 4-ю премию.

Родился в Тамбовской губернии. В 1905 году, пятнадцатилетним мальчиком, по предложению знаменитого в те времена губернатора Н. П. Муратова, принужден был покинуть родные края

и с той поры веду бродячий образ жизни, нигде подолгу не засниваясь. Жил в 6. Прибалтийском крае, где кончил политехникум, был за границей, служил в английском и французском флотах, совершил кругосветное плавание. Между прочим плавал на французском бриге «Nord», откуда, должно быть, и взял псевдоним. Жил в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале; теперь собираюсь пожить на Кавказе. Украини почему-то всегда тянули меня.



Любовь к «писательству» обнаружилась лет с 7-ми, когда начал сочинять романы в духе Ж. Верна и Г. Эмара. В первом классе «издавал» с товарищем журнал, чем вызвал неудовольствие школьного начальства:

Журналист, а квадратных мер не знаешь!

Студентом начал писать фельетоны в провинциальных газетах, но и здесь начальство не одобряло, хотя публика как будто читала. После фельетона начальство «вызывало» редактора, после чего он ходил грустный. Одно время сам редактировал газету. Тогда вызвали непосредственно меня, после чего грустил уже я. Вплотную литературой заняться не удалось, хотя очень ждала бы...

Ростов-на-Дону. Б. П. Третьяков.

К. С. Анкудинов,

автор рассказа «Старые мертвецы», получивший 5-ю премию.

Автор не сообщил ничего из своей жизни, и близкий приятель его пишет о нем.

Впервые я его встретил в вагоне Владивостокского поезда. Высокого роста, атлетического телосложения, с серыми, глубоко сидящими глазами, он произвел на меня впечатление сильной, энергичной природы.

Константин родился в 1907 г. в г. Бежецке, Тверской г., в семье ин-же нера. С детства приохотился к чтению, читал запоем, без разбора, все, что попадалось под руку. Кончив среднюю школу, попал на Правовое Отделение Киевского Университета.

Жизнь в четырех стенах, в душном городе-коробке не удовлетворяла его беспокойную натуру. Рассказы Джека Лондона быстрее заставляли бежать молодую кровь в бессонные ночи; ворочаясь на кровати, мечтает начинающий юрист о других людях, новой жизни.

Детские мечты, навеянные еще романами Купера и Майн-Рида, удается, после долгих размышлений и безуспешных попыток, привести в исполнение. Бросив родной город и университет, с легкой душой и бесконечно приятным чувством свободы, Константин отправляется скитаться по необъятной Сибири.



Жизнь жестока, борьба не терпит слабых. Едва оперившийся скиталец попадает в самый водоворот жизни. Что делать?

Мечтами и путешествиями не проживешь. Семнадцатилетний парень, крепкий и настойчивый, берется за самую разнообразную работу: он и техник, и художник, и конструктор. Не знаю, осталась ли вообще какая-нибудь профессия, за которую он не пытался взяться. К этому же времени относятся его первые литературные опыты. Появляются очерки в «Сибирских Огнях» и во Владивостокской газете.

Но Сибири—мало, в России—тесно, Константин рвется за границу.

Встретились мы во время его переезда на Восток, к мятежному Китаю. Я ехал на Сахалин, он—в Шанхай. На протяжении двух лет я регулярно получал от него письма с диковинными марками диковинных стран. Китай, Япония, Маньчжурия, острова Тихого Океана и опять Россия, Владивосток.

Судя по письмам, он вел опасную жизнь, полную соблазна и приключений. Какое-то смутное беспокойство, желание устроить не так свою жизнь, а по другому, сквозило сквозь сочные строчки, пахнувшие экзотическими странами и далекими кораблями.

В одном из писем он говорит о своем желании учиться, поступить в Горный Институт и стать инженером. Жизнь многому учит!...

Последнее письмо было с «Колымы», отправляющейся в первый Ленский рейс. Константин Анкудинов уезжал на Аляску. Теперь он—в Хабаровске.

Ю. Знаменский.

В. В. Белоусов,

автор рассказа «Тайна горы Кастель», получивший 6-ю премию.

Трудно писать биографию человеку, насилию-насилу прожившему два десятка лет.

Среднее образование получал по всякому: учился два года в реальном училище, но революция его закрыла, занялся потом в научных классах Филармонического Музыкального Училища, но оно тоже кончилось. Тогда я рассердился и стал заниматься сам, что успешно и выполнил без посторонней помощи, сдав лет пять тому назад экстерном испытания за вторую ступень. Этой осенью пытался поступить в Университет на геологическое отделение, вступительные испытания выдержал хорошо, но получил извещение, что мое «ходатайство» отклонено. Занимаюсь вольнослушателем, надеюсь к Университету прилпнуть.

Рядом с моим общим образованием шло и идет образование музыкальное. В этом году я кончаю Музыкальный Техникум по классу фортепиано.

Увлекался когда-то астрономией, потом—шахматами. И то и другое теперь бросил. Но самое яркое, что есть в моей жизни—это мои странствования. Если существуют прирожденные туристы, то я бесспорно принадлежу к их числу, ибо только в странствовании чувствую как следует, что я

живу, и только в странствовании бываю действительно самим собой. Из средств передвижения предпочитаю больше всего пеший. Когда вскидываю за спину свой туристский мешок, испытываю колоссальное наслаждение.

Места для своих странствований выбираю такие, где никто не бывает.



Если летом я не сделаю 350—400 верст пешком, то такое лето я считаю пропавшим и очень об этом скорблю.

Писать начал просто так—из любопытства. Первый рассказ премирован на прошлогоднем конкурсе «Всемирного Следопыта», следующие напечатаны там же. Жанр мой—

краеведчество. Пишу еще, как нам полагается, «колониальные» рассказы (тогда подписываюсь не Белоусов, а—Вайт Мустап).

Писателем себя не считаю. Для того, чтобы им стать, нужно совсем не так работать: очень много и трудно надо работать. Для этого сейчас не имею времени, но трезвое желание работать—есть. Со временем буду пытаться, а пока на главном месте—собственная культура.

Для того, чтобы иметь шансы сделаться писателем, по моему мнению, необходимо: быть прежде всего хорошо образованным человеком, кропотливо изучать творения великих мастеров слова, как можно меньше знакомиться с современной русской литературой, потому что она делается людьми бескультурными и имеющими к искусству очень слабое отношение, много путешествовать (не в мягких вагонах, а более «непосредственно»), так как только таким путем можно и должно наблюдать жизнь.

Успех мой на конкурсе «Мира Приключений» победой не считаю. Рассказ мой слаб.

Москва.

В. Белоусов.

В. Д. Никольский,

автор рассказа «Лучи жизни», получивший 7-ю премию.

Невольно возникает вопрос: какая автобиография вообще необходима нынешнему читателю? Что ему до того, когда писатель женился, сколько у него ребят, что любит он на обед и предпочитает ли он оперу драме или наоборот? Думаю, что для читателя такой материал, иногда усердно ему подносимый, совершенно ненужен и даже вреден. Если то или иное произведение заинтересует читателя, он вправе узнать лишь о том, под влиянием какой обстановки и внутренней работы мысли сложились

творчество и идеи писателя. Это интерес такого же рода, который у иного любознательного человека возбуждает,—ну, хотя бы кусок пестрой понравившейся ему ткани: где вырос хлопок, пошедший на ее выработку, и как построены машины, создавшие эту материю?

Родился я в 1886 году на Кипштымском заводе, на Урале, где отец и мать работали в качестве заводских врачей. Увезли меня оттуда на третьем году, и от моей случайной родины в памяти у меня остался лишь запах дыма древесного угля чугуноплавильных печей. С 1889 года Петербург стал тем городом, где с небольшими перерывами я провел всю свою жизнь. С 1896 г. восемь долгих лет ученья в седьмой классической гимназии, откуда если что я и вынес, то не благодаря, а скорее вопреки ей. Родители мои, особенно отец, были глубоко общественными людьми, умевшими наряду с напряженной врачебной работой (отец до 1909 года был старшим врачом группы заводов Шанссельбургского тракта) принимать самое деятельное участие в различных рабочих культурно-просветительных организациях и научных обществах того времени. Отец одним из первых широко поставил у нас вопросы охраны труда, особенно с той поры, когда он стал читать свой курс профессиональной гигиены в нескольких высших технических учебных заведениях Петербурга. Умер он на посту, борясь как врач с холерной эпидемией 1918 года. Неудивительно, что в такой атмосфере я не остался спокойным свидетелем событий 1905 г., поступив в 1904 г. на электромеханическое отделение Политехнического Института. Эпоха бунта и натиска... Сходки... Митинги... Работа в большевистской студенческой организации... 9 января, когда только случайно я не попал под пули на Дворцовой площади. Весной 1905 года вынужден уехать в Швейцарию, но к осени возвращаюсь и вновь берусь за работу, руководя одной из боевых рабочих дружин Невской заставы. Взрыв черносотенного штаба у Семяниковского завода, неудачная попытка устроить крушение поезда с Семеновским полком, ехавшим на усмирение восставшей Москвы... Студенческие сходки... Треповские налеты на институт... «Свободы» и надолго реакция... Дилемма: идущая на убыль революция...



или наука? Я выбираю последнее и в 1909 году кончаю институт со званием инженера-электрика. Затем два года научной работы при институте в качестве аспиранта при кафедре гидравлики. С 1911 по 1915 год служу в техническом отделе Управления водных путей. С того же времени принимаю участие в разработке многочисленных проектов использования гидравлической энергии Волхова, Суны, Рюна, Днепра, Белой, Чусовой, Свири, Вислы, Невы и других рек России. В годы войны работаю в области конструирования самолетов, организуя первую в России лабораторию для электроплавки ферровольфрама, руковожу составлением выдвинутого мною проекта мощной гидроэлектрической Кондопожской станции для нужд азотного завода, намеченного к постройке Артиллерийским Управлением. Станция эта частично заканчивается теперь постройкой и будет обслуживать крупный бумажный завод. В 1919—1923 году живу на Украине, на родине моей матери, в Полтавской губернии, где работаю по линии сельской электрификации и мелиорации. С 1924 года я снова в Ленинграде, где и по сей день состою ученым сотрудником Гос. Научно-Мелиорационного института, в стенах которого принимаю близкое участие в составлении проектов защиты Ленинграда от наводнений, мелиорации прилегающего к нему заболоченного района, использования гидро-энергии Невы и в лабораторной разработке ряда вопросов научно-технического характера.

Вот как будто и все главные вехи.

Литературной работой серьезно занялся с 1924 г. В «Ленгизе» и «Прибое» вышло несколько моих научно-популярных книг, хорошо принятых нашей критикой. «Чортова долина» и «Антибеллум» нашли себе место на страницах журнала «Мира Приключений» в 1926 году. В 1927 году преобую силы в более крупной вещи — научной утопии «Через 1000 лет», вышедшей приложением к «Вестнику Знания».

Внутренний смысл моих работ — выразить в легкой, словесной форме идеи, которым быть может рано родиться сегодня, облеченными в материальную форму, но появление которых неизбежно для завтра. В грохоте дней настоящего, в пыли, поднятой упавшими облочками прошлого, я смутно вижу и полуугадываю величественные очертания грядущего, куда освобожденный человек войдет движимый не голодом и не насилием, а только лишь своим порывом к работе и творчеству. Теперешний читатель даже в приключенческом рассказе ищет для себя что-то ценное и необходимое.

Разбудить его фантазию, заставить его подумать над новой идеей, заразить его жадностью научных исканий, дать почувствовать радость победы над темной силой природы, показать ему необъятность и дерзость человеческой мысли, вот для чего я пишу и чего хочу я добиться...

Ленинград.

В. Никольский.

В. Е. Грушвицкий (В. Орловский),

автор рассказа «Из другого мира», получивший 8-ю премию.

Родился я 28 июня 1889 года в г. Лукове, Седедской губ., в семье военного ветеринарного врача.

В 1907 году кончил корпус и поступил в артиллерийское военное училище, из которого выпущен был в 1910 году подпоручиком в артиллерийскую бригаду, стоявшую в Варшаве. Здесь я пробыл 3 года, из которых 1911 отмечен



покушением на самоубийство, поводом к которому послужила романтическая история довольно запутанного характера, а результатом — протрешенное навывлет легкое и три недели в госпитале борьбы между

жизнью и смертью. В 1913 году поступил в Николаевскую Инженерную Академию.

В октябре 1917 г. был вызван в Петроград для продолжения курса Академии. Октябрьские дни встретил частью в пути, частью уже в городе. В Академии работал до ноября 1918 года, когда был выпущен военным инженером и срочно командирован со всем выпуском на южный фронт Красной действующей армии.

Здесь занимал ответственные должности вплоть до Начальника инженерных войск, но как только затихли военные действия, — исполнил давнишний мечту и перешел в 1920 году в учебное ведомство.

На этом поприще работаю и до сих пор преподавателем физики и химии одной из школ Ленинграда, куда переехал вместе с семьей с юга в 1922 году.

Одновременно с осени 1920 года, еще в провинции, поступил на физико-математический факультет университета, решив стать твердой ногой на почве новой деятельности. С переездом в Ленинград перевелся в злешний университет, в котором состою по настоящее время и надеюсь закончить в текущем году, если не помешает какая-нибудь *force majeure*.

За время войны утвердился окончательно в отвращении к этому страшному делу, с которым пришлось столкнуться вплотную на позициях. Под огнем, в гуще взбаламученного людского моря, мечтал о тишине лаборатории, кабинета, о сосредоточенной, систематической работе, далекой от страстей человеческих.

В голодное время перенес вместе со всеми страшную нужду, так что в 21 году совершенно серьезно стоял с семьей (к тому времени было трое детей) перед угрозой совместного самоубийства, как единственного выхода.

За это жуткое время соприкоснулся со всей глубиной человеческих страданий, которые проходили перед глазами живыми, незабываемыми картинами. Здесь практически, так сказать, научился уважать людское горе, уважать в человеке страдающую, живую личность. К этому был подготовлен всею силою глубокого, человеческого слова нашей литературы, на которой вырос, с которой сроднился и равной которой в этом смысле—другой не знаю. Так выработались три основных пункта мирозерцания: страдание ко всему живому, отвращение к войне и преклонение перед силой человеческого разума и его созданием—наукой.

Первые попытки на литературном поприще, если не считать детства, когда, кажется, все воображают себя будущими поэтами, относятся к последним годам пребывания в корпусе, когда был редактором кадетского журнала и снабжал его своими рассказами и статьями на злобу дня. Журнал выходил с одобрения начальства и печатался как «взаправдашний», но заглох на втором или третьем номере, пораженный художником. Затем уже в Питере юнкером сделал попытку поместить в каком-то не то дамском, не то детском журнале фантастик, навеянную Андреевскими страхами, и получил первый вежливый ответ от редакции: не подходит по содержанию. Это настолько огоршило, что пятнадцать лет не брался за перо, да офицеру это и вообще было трудно.

И только в 1923 году, попав в новую среду педагогов и студенческую, сделал еще одну и довольно объемистую попытку в виде научно-фантастического романа, в основу которого положены были электромагнитные волны, излучаемые человеческим организмом. Роман был принят в «Полярной Звезде», начал печататься, но за ликвидацией издательства не увидел света. Однако первая удача придала бодрости, и в 1925 году был готов новый роман, развивающий ту же идею, но в иной обстановке и под другим углом зрения. Он был напечатан в «Прибое» под заглавием «Машина ужаса». В следующем году в том же издательстве выпустил небольшую популярную книжку по химии.

В «Мире Приключений» выступил в марте текущего года с рассказом «Бунт атомов».

Идея, лежащая в его основе, и скелет фабулы послужил для развития нового научно-фантастического романа, печатающегося ныне под тем же заглавием в «Прибое».

В промежутке между последними двумя вещами был написан рассказ «Из другого мира», посланный на литературный конкурс «Мира Приключений».

Ленинград.

В. Грушевицкий.

А. К. Сапожников,

автор рассказа «Аким и Мишка», получивший 9-ю премию.

Родился и вырос в Сибири. Горожанин. Образование—незаконченное среднее. Круг знаний пополнял случайно и не систематически, так как со школьной скамьи пошел на службу. Служу и сейчас. Внешних событий, заступающих особого интереса, никаких припомнить не могу.

По жалуй, следует отметить одно обстоятельство. Когда мне было лет восемнадцать, я в первый раз попал в настоящие горы—гольды. Дикий хаос нагроможденных скал, рев горных рек и водопадов, темные ущелья, неожиданно переходящие в альпийские дуга, где мягко звенят ручьи, наконец, необъятные горизонты, когда забираешься на голые вершины, целые потоки солнца и прозрачный воздух, в котором так четко рисуются дали,—все это произвело на меня неизгладимое впечатление.

Позднее я еще два раза совершал «паломничества» в эти горы и каждый раз они «выпрямляли» меня.

Там же у меня впервые зародилась мысль написать рассказ о дружбе человека с медведем. Писал я и раньше, но рассказ «Аким и Мишка»—первое мое произведение, которое увидело свет.

Иркутск.

А. Сапожников.





Фантастический рассказ Д. ПАНКОВА

Иллюстрации С. ЛУЗАНОВА

Содержание первых глав, напечатанных в ноябрьской книжке „Мира Приключений“.

Странный субъект, называвший себя Иоганном Жибрамом, в 1943 г. надоедал президенту французской республики, министрам и ученым предложением делать специальные прививки в мозг, чтобы люди получили отвращение к войне. Над изобретателем-идеалистом насмехались и, наконец, о нем забыли.

Через семь лет Жибрам под именем химика Жан-Жак Бетье предложил французскому военному министру для снабжения армии ткань, совершенно задерживающую пули. Эта же ткань, под влиянием особого реактива, делалась настолько липкой, что нельзя было оторвать все, что бы ни коснулось ее. Бетье продал свое изобретение Франции с тем условием, чтобы ему не помешали одеть враждебную английскую армию в эту ткань, а Франция могла бы потом „прилипнуть“ на фронте всех англичан. Затем Бетье продал и Англии свое изобретение. Английская армия сделалась неуязвимой, но драгоценная ткань, по инициативе самого Бетье, контрабандой проникла и во Францию, и вся армия мало-по-малу облачилась в эту чудесную материю.

Тем временем изготовленная Бетье ароматическая жидкость, превращающая защитную ткань в ужасную липучку, была сброшена английскими авиаторами над расположением французских войск. Французская армия прилипла. Ужас распространился во Франции.

Бетье торжествовал: французы сделают то же самое с англичанами, и через трое суток два лагеря врагов—в его руках, две сильные и самые беспокойные в мире нации станут двумя стадами кротких овец. И он будет диктовать остальному миру не злобу и сокрушение, а мир, только мир.

Но французы почему-то медлят. Бетье сносится с военным министром Франции, но оказывается, что тот арестован за государственную измену. Он виноват, что армия прилипла. Бетье сам едет в Париж, его арестовывают и заставляют выделять средство, уничтожающее липкость. Однако, Бетье находит возможность бежать в Швейцарию. Вся Франция в панике...

VIII.

СРОЧНО, по телефону, президента вызвали на фронт. Через два часа он был на месте. Он вошел в помещение штаба северной армии. Перед ним выстроилось в ряд полсотни генералов и офицеров различных рангов. В комнате чувствовался слабый приятный аромат. Все съезились, были с осунувшимися лицами, некоторые

нестественно взмахивали руками, двигали ногами, поводили шеей. Президент поздоровался, огляделся и удивленно раскрыл глаза: у некоторых военных на ногах и щеках висели какие-то лохмотья, выпачканные не то в творог, не то в извесь.

Выступил начальник штаба, генерал Серсиль.

— Господин президент! В армии творится нечто непонятое и страшное.



Мы не знаем, что произошло: болезнь, работа газов, измена или что другое?! Армия, одетая в асепсанитас, почти сплошь прилипла. Мы все сидим в каком-то клееком месиве. Мы призывали врачей, профессоров, химиков, техников, но никто ничего не может ни понять, ни объяснить, ни, тем более—оказать помощь. Еще несколько часов такого состояния и начнется паника. И тогда полный разгром! Что делать?

Президент оправился от тревоги и, стараясь смотреть бодро, произнес:

— Опасного ничего нет. Сейчас спешно вырабатывается жидкость, так называемый «дезассепс». В асепсанитасе он убьет липкие свойства. Над дезассепсом работает один гениальный химик, изобретатель асепсанитаса.

— Необходимо поторопиться, господин президент, ибо неприятель, вероятно, еще не знает о том, что происходит у нас. Но когда узнает...

— Будьте, господа, спокойны и в этом отношении: у неприятеля не совсем благополучно... Правда, говорить что-либо об этом рано. Но это скоро выяснится... Что касается нас, то тут вообще или недоразумение, или преступление... Это тоже выяснится...

Откуда-то раздался стон. Вдоль стен стояло несколько кроватей, совсем, как в лазарете, и на них лежали больные.

— Что у них такое?

— Это те, что оделись в белье из асепсанитаса. Они закупорились липучкой и их тело не производит теперь никаких отпавлений...

— Но, ведь это опасно?

— О, да, врачи говорят, что если липучка не будет снята через сутки, им грозит смерть.

Президент поехал к линиям окопов. Солдаты кучками, человека по два, по три, старались отделить друг у друга асепсанитас от тела. Для этого они осторожно разрезали ткань на полосы и медленно отдирали их от кожи. Пораженный липучкой корчился от боли, но продолжал стоять, героически перенося операцию. В некоторых местах можно было видеть солдат, уже оперированных. Всю ткань снять с них не удалось, и она виднелась на теле безобразными желтыми пятнами, а там, где была снята—тело покрывал желто-кремовый творог. От ранений ножом и отдираанием сквозь клейкую массу кое-где проступила кровь и образовала безобразные красные пятна, похожие на язвы. Иногда, не помня себя от отчаяния, солдаты рвали асепсанитас вместе с кожей, извивались от боли и с бешеными воплями катались по земле. Из самых траншей неслись крики, ругань, плач, в иных местах превращавшиеся в иступленный вой. Там целые роты валялись по настилке пола, прилипшие к нему спинами, затылками, ладонями рук, животами, коленями, щеками. К ним подходили их счастливые неприлипшие товарищи и кормили из чашек.

Часть траншей опустела. Только на полу их лежали снятые с ног сапоги, вороха аммуниции, оружие, дощечки. Все это прилипло. По дощечкам люди вышли из траншей. Кое-где с потолков спускались ружья, сабли,

одежда. Потолок, покрытый асепсанитасом для защиты от пуль и шрапнели, превратился в липучку. Из любопытства к нему приклеивали различные вещи, и они так и оставались, точно развешанные для просушки.

Время от времени из траншей выбегали солдаты и с криком: «спасите, сил нет терпеть!»—бежали неизвестно куда.

Президенту то и дело попадались люди то с заклеенной головой, то со слепшими пальцами, то с лицом, на котором виден был или только рот, или глаза, или одна щека. Встречались с ног до головы укутанные асепсанитасом, как одеялом, лежавшие прямо на земле. Липучка застигла их во время сна: тканью они прикрылись, чтобы ночью их не обыскало картечью или пулями. Теперь их

можно было принять за обернутые саваном трупы, если бы они не давали знать о себе стонами и криками о помощи.

Валялись и подлинные мертвецы: им заклеило рот и нос — они задохлись.

В некоторых местах президент наблюдал, как пристреливали задыхавшихся лошадей, у которых морды были заклеены мешком от овса, сделанным из липучки.

Фронт превратился в колоссальный лагерь не то прокаженных, не то сушасгедших. Ни выстрелов, ни обычной боевой суеты не было: о неприятеле никто и не помышлял. Но все были озабочены и напуганы гораздо больше, чем если бы на них надвигалась вражеская атака. Мрачные или злобные лица, посиневшие точно от холода, унылое или недоумевающее



Солдаты рвали асепсанитас вместе с кожей, извиваясь

выражение глаз, нервные движения, ругань, стоны — все это подавляло президента и его свиту, и они терлись; не зная, что предпринять и даже что сказать.

— Да, ведь, это целое народное бедствие! Что же делать?

Он испуганно, вопросительно оглядел свиту.

Во всяком случае президенту нужно было что-то сказать. И он обратился к фронтовикам с речью. Он говорил о родине, об ее чести, о необходимости победы, о зазнавшемся враге. Тонем полной уверенности сказал, что прилипание — вещь временная и неопасная. Она, если не сегодня, так завтра, наверное, будет уничтожена, и армия — победоносная, могущественная, единственная в мире, вернется домой к очагам, семьям и мирной работе.

Речь его была длинна и патетична,

но он ее еще не кончил, когда к нему протискалась кучка солдат и офицеров, бесцеремонно подергала за полы пальто и возбужденно заговорила:

— Речи мы слышали, господин президент... Нам их не надо. Лучше дайте нам сведущих докторов, чтобы они спасли нас от липкой болезни... Слышите? Докторов! Докторов! Выпишите их из-за границы, если наши ничего не смыслят... А победа — какая там победа, если мы сами побеждены липучкой!

Президент не нашелся, что сказать, и только растерянно заулыбался во все стороны. Ему хотелось скорее уехать. Он направился к автомобилю. В это время к нему протискался чиновник связи и вручил радиотелеграмму: «Химик Бетве исчез. Дезассеж не изговяется. Розыски предателя тщетны. В Париже нарастает возбуждение! Торопи-



от болей. Из траншей неслся крики, ругань, плач...



тесь возвращением». Он читал, а сотни глаз впились ему в лицо и, по его выражению, пытались понять смысл известия. Президент побледнел, робко глянул на толпу, встретился глазами с ее жутким, вопрошающим взглядом и, силясь улыбнуться, залепетал:

— Да, да... это ничего... так...—из дому—семейное. Я пришлю докторов, ученых... конечно... все будет в порядке...

Сел и укатил, оставив за собою вонь бензинного перегара и облако пыли.

IX.

Он въезжал в Париж и наблюдал из окна автомобиля. Кучки народа собирались вокруг отдельных лиц в военных шинелях... Огромные хвосты солдат и офицеров перед дверьми больниц, амбулаторий и квартир врачей. Бегут, кричат, жестикулируют... Несут и везут на подводах людей во что-то закутаных, точно во время похоронной процессии. Куда? Зачем? Неужели это все пораженные ассесантасом с фронта?

Когда он приехал к себе, приемная была заполнена министрами, высшими чинами учреждений, военными всех рангов. Он раскланялся и вошел в кабинет. Там уже ожидал его первый министр.

— Что же мы будем делать, м-сье Лясомм?

— У меня на руках странное донесение, господин президент. Армия неприятеля и часть его населения в пограничной полосе также обьяты липучкой.

— Для меня тут нет новости, м-сье Лясомм. Мне и немногим другим был известен договор генерала Альма с химиком о производстве для английских войск ассесантасата. Армия врага прилипла в результате полета над его траншеями нашей скарильи, это входило в наши планы. Но нам совершенно непонятно, почему прилипла наша армия? Конечно, сейчас наводить следствие несвоевременно. Надо сначала поторопиться избавлением от липучки всех прилипших. Как не сумели укараулить Бетье?



— Речи мы слышали, г. президент, дайте нам докторов, докторов!

— Поиски еще идут, господин президент. Я думаю назначить за его голову награду.

— Разумеется надо. Только— вдруг он не явится? Надо принять самим меры. Назначьте крупную награду за открытие средства от липучки. Пусть химики поработают! Но скорее... А пока необходимо созвать совещание лучших наших медиков: ведь, нужно же что-нибудь предпринять для облегчения прилипших.

— Я только хотел предложить вам, господин президент, освободить от ареста генерала Альма. Возможно, что он мог-бы оказать нам какую-нибудь помощь...

— Альма? Ни в коем случае... Заключить так опрометчиво договор с Бетье, погубить армию!

— Но, ведь, он арестован как раз за то, что не допускал ассепсанитаса в нашу армию!

— Так что же? Теперь открылись новые обстоятельства дела, вообще,

мы возмемся с этой подлой липучкой по его милости...

X.

7 мая, в 7 часов утра, в главный штаб французской армии с английской стороны явились парламентареры для переговоров о мире. Конвоируемые генералом Серсилем, они прибыли в Париж, к президенту республики.

Мирная декларация была прочитана в присутствии всего совета министров. В ней говорилось:

Войско короля Англии всегда было славно своими победами. Великобританский лев всегда наводил страх на врагов и вызывал уважение у союзников. Но... волею злой судьбы у льва в настоящее время прилипла одна лапа, и он бессилен двигаться. Королевскому правительству известно имя

лица, совершившего это беспримерное в истории злодеяние, тем не менее изменить положение армии оно не в состоянии. Однако, по точным сведениям, в таком же положении оказалась и доблестная французская армия. Предательство коснулось и ее. Его королевское величество, считая продолжение войны нецелесообразным, предлагает французскому правительству изложить условия, на которых оно сочло бы возможным немедленное прекращение военных действий.

Так была закончена война. О ее конце кричало на весь мир радио, а на всю Францию — саженных размеров плакаты. Другая серия плакатов извещала население о том, что французское правительство назначает 500,000 франков награды тому, кто укажет местопребывание Бетье. Биография его такая-то, предметы такие-то. А изловляется он потому, что именно он и есть виновник асепсанитаса. Через час был вывешен второй анонс о том, что английское правительство со своей стороны назначает 100,000 фунтов за указание местопребывания химика. И об этом радио оповестило весь мир. Суммы на афишах пестрели аппетитным шрифтом, потрудиться над поимкой преступника стоило. Завозились сыщики всех племен, наречий, состояний; организовались даже целые синдикаты сыщиков.

Через 6 часов за особу химика был обещан уже миллион фунтов. Еще через 3 часа—два. Организации по его розыску росли, как грибы. Вообще суммы эти во всех государствах дали толчок к возникновению новой отрасли промышленности — сыщической. И чем больше плодилось сыщиков, тем больше нарождалось химиков Бетье. Через очень непродолжительное время в любой кучке людей оказывались и сыщик, и химик. Сыщик торжественно подводил к кучке сержанта и, указывая на химика, говорил: «Арестуйте его, это Бетье!» А «Бетье», смотря по темпераменту, начинал или смеяться, или драться. Полиция сбилась с ног, ежеминутно арестовывая тысячеголового химика.

В 6 часов вечера появились еще плакаты и еще радио: «Правительства Англии и Франции совместно выплачивают десять миллионов франков и обещают полную амнистию самому химику, если он явится с повинной к одному из правительств двух государств».

Между тем липучка не дремала: уже слег адмирал Рамбулье, тот самый, который... Слегли Бежо, Пижо, Муссонье, Предижилль, Ассамбре, Аккруа— все выдающиеся люди страны, один незаменимее другого в своей области.

У англичан дела обстояли еще хуже: там, пораженные асепсанитасом, постепенно занемогали военные штабы в полном составе, комиссии по военному снабжению, десятки госпиталей с больными, сотни врачей! Все это корчилось, стонало, изрыгало ругань по адресу провидения и Бетье и неизменно умоляло о помощи.

А Бетье, настоящий, подлинный, никем не находился, и не шел сам.

XI.

И ВДРУГ в семь часов вечера того же дня над Францией и Англией на огромной высоте появились аэропланы и стали сеять бесчисленными объявлениями, отпечатанными на яркорозовой бумаге:

— «Французскому и английскому правительствам от химика Жибрама-Бетье.

Асепсанитас—мое изобретение. Я взял им в свои руки около трех миллионов людей, объятых его липкими молекулами. Липучка не выпустит их из своего мертвого охвата до тех пор, пока они не задохнутся. Они могут просуществовать еще пять дней—не больше. Потом обречены на медленную смерть. Но их спасение может быть начато через час, если правительства согласятся сделать им и всему населению противоязвенную инъекцию по способу, который в 1943 году излагал в Париже химик Жибрам. Пусть о своем согласии правительства оповестят меня и мир по радио».

Легучки вызвали неопишемое волнение. Жибрам? Это какой Жибрам? Шесть лет назад? Где? У кого? Кто

знает, кто помнит? Наконец, вспомнили. Да, да. Был такой! Психопат. Странный, подозрительный, самолюбивый. Все странствовал по кабинетам министров и их канцеляриям. Но разве он не умер, или не исчез с европейского горизонта?

Прививки? Да,—он предлагал прививки. Сверлить мозги, вливать туда что-то. Помним, помним! Это было при президенте республики Шуазо. Спросить у Шуазо, кто и что за человек Жибрам. Шуазо уше? По настоящю Альма? Ах, этот Альма! Это он накликал беду на два государства. Альма за его призвание химика должна быть несомненная смерть! Он сейчас в тюрьме, над ним состоится военный суд, но во всяком случае, он должен быть гильотинирован! Ибо он погубил три миллиона жизней! Он величайший негодяй, которого когда-либо звал мир!

А сколько человек он уволил в угоду Бетье? Неужели сорок? Таких полезных для государства лиц! Вот откуда оно—бедствие, обрушившееся на страну! Немедленно их восстановить в их должностях, а над Альма немедленно учинить суд! Теперь вполне понятво, откуда и измена, и сумятица, и вся неразбериха!

Однако, надо что-то предпринимать! Надо, во-первых, спросить всех пораженных ассепсанитасом, желают ли они антивоинственной прививки. За ними последнее слово! Прилинувшие громко и с раздражением заговорили. Конечно, они согласны на прививку! И на что угодно еще! Без прививки, ведь, им грозит смерть! Смешно спрашивать и тянуть время! Немедленно позвать этого мерзавца, чтобы он освободил их от липучки какою угодно ценою!

Тем временем, пока шли вопросы, переговоры и сомнения, в Париж прибыл швейцарский подданный Вильгельм Брудерер, явился к первому министру и потребовал уплаты ему обещанных двух миллионов фунтов за указание местожительства химика, ибо последний живет у него, Брудерера, в его шале, под Маттергорном.

Новая неопишуемая сенсация. По двум государствам опять прокатился

девятый вал ожидания, тревоги и радости. Заскрипели перья журналистов, загромыхали вагонетки ротационных машин, затрещали телефонные звонки, застучали телеграфные аппараты. Полились потоки чернил, типографской краски и бумаги. С шумом низвергались водопады человеческих речей!

Потребовать от швейцарского правительства выдачи Жибрама! Немедленно! Сейчас! Сию минуту! В случае надобности от двух великих держав предъявить ультиматум! Не дожидаясь ответа—каждый час дорог, ибо ассепсанитас не ждет и медленно, и верно душит людей—послать эскорт в тысячу человек и взять химика силой! А тут с ним уж повести разговор по своему!! Что? Нейтральная страна? Вы ее боитесь? А что она нам делает? Международный договор? О нем поговорим и его урегулируем потом. Может быть, составим новый... И новый наверняка будем уважать, а сейчас—к чорту международный договор! Подать Жибрама! Взять Жибрама! Силою, если Швейцария не выдаст добровольно!

И три срочных поезда, набитых десятками отборнейших рот Франции и Англии, двинулись к границе нейтрального государства, проникли в самое его сердце и, несмотря на протесты швейцарского правительства и раздражение населения, добрались до шале Брудерера под Маттергорном, нагрянули, как снег на голову, на химика, окружили тесным кольцом в полторы тысячи человек и привели к поезду. А поезд умчал его в Париж.

ХИ.

ПАРИЖ был возбужден, как стадо обезьян от появления тигра. Везут Бетье!!!

На вокзале его встретила многотысячная толпа. Она кричала, бесновалась, отталкивала солдат и полицейских, требовала смерти химика. И когда с большим трудом оцепили площадь, где стоял автомобиль, и посадили Жибрама, толпа преградила ход машине. Вызвали помощь, автомобиль оцепили тройным кольцом охраны и медленно, все время прочищая путь сквозь толпы, повезли химика по на-

правлению ко дворцу юстиции. А потоки людей росли. Они запрудили все соседние улицы, покрывали черным налетом, точно выпавшая печная сажа, крыши, балконы, окна, двери, автобусы и омнибусы, и стотысячезычным ртом кричали:

— Смерть мерзавцу! Негодяй! Предатель!

И в то же время толпа жадно осматривала «негодяя» с головы до ног. Отмечала каждую деталь его костюма. Запечатлевала выражение лица, глаз, губ. Поглощала памятью движения его головы, рук, туловища.

Все кругом бесновалось. Все улицы, при появлении кортежа с химиком, немедленно превращались в Броккен с его шабашом чертей и ведьм. И среди ада злости и воплей только Бетье — Жибрам сохранял полное хладнокровие. Он спокойно сидел и, насунив брови, осматривал толпу медленным и острым взглядом, не обнаруживая своих мыслей и чувств.

Опять во все страны света понеслись радио-волны. Они известили население всего мира не о согласии правительства на требования Жибрама, а об его аресте. А арест был связан с беспрецедентным в истории нарушением прав нейтральной Швейцарии...

Допрос Жибрама — Бетье решили произвести публично, в соединенном трибунале из военных и штатских властей обоих государств, в присутствии членов палат и сената. Место допроса — Париж.

Он был введен под конвоем сильных, здоровенных солдат. На него направились сотни биноклей, лорнетов, пенсне, тысячи невооруженных глаз. Все это море голов, тел, рук, ног и языков зашевелилось при появлении химика, как шевелятся листья леса от начинающегося града.

Жибрам смотрел на них спокойно и гордо. Он — все тот же низенький, живой, но не вылощенный и кругленький, каким он много месяцев назад появился у военного министра, а худой, со своими запавшими в орбиты глазами, лохматый, одетый в потертый, запачканный костюм. Волосы рыжие, лицо коричневое — мулата, бежавшего тогда из лаборатории.

— Вот странно, да он совсем непохож на Бетье, изображенного на фотографии. Как же его ловили?..

Бетье — Жибрам стоял, осматривал всех, молчал и ждал.

Собрание открыл президент французской республики.

— Гражданин Бетье! Мы не знаем, кто вы, и очень плохо знаем, что вам нужно. Но нам очень хорошо известно, что вы нарушили мирное течение жизни двух государств. Вы поставили под знак вопроса существование целых трех миллионов граждан, а самое главное — подорвали веру в гений человека. Кто теперь думает, что с появлением гениального лица на жизненной сцене человеческое общество улучшит свой быт, станет непобедимее в борьбе со своим исконным врагом — природой? Свой талант вы использовали на зло человечеству! Конечно, в целом оно не погибнет от вашего изобретения. Однако, это изобретение все-таки смертельно опасно для миллионов наших граждан. И если они погибнут, — погибнете злою смертью и вы, а кроме того ваше имя будет передано потомству, как имя врага человеческого рода. Мы собрались здесь, чтобы потребовать от вас ответа, что вам нужно, какие конечные цели вы преследуете и немерены ли в скором времени избавить пораженных вами людей от ассепсанитаса?

Президент, взволнованный, сел и замолк.

Бетье взмошел на трибуну, окруженный стражей, не спускавшей с него глаз. Он оглядел аудиторию и при мертвой тишине звонким, неприятным фальцетом начал:

— Господа! То, что я сейчас скажу, я уже говорил несколько лет тому назад и скажу в последний раз. Поэтому прошу выслушать меня внимательно и спокойно. Прошу знать и запомнить, что мои слова будут категоричны, никаких опровержений, оспариваний я не потребую и не приму.

Итак — что мне от вас нужно?

Господа! Я считаю войны, которыми время от времени забавляется человечество, настолько позорным и губительным занятием, что с тече-

нием времени люди должны выродиться в расу мелких гиббонов, тех самых, от которых они произошли. Допустить для человечества такой конец нельзя. Тысячи утопистов стремились убедить людей отказаться от самоистребления, но иных из них заставляли платиться за свою проповедь головой. Страннее всего то, что в мирное время люди, повидимому, проникались миром. Но являлся на сцену какой-нибудь капризный властитель, кричал:—объявляю войну!—и человечество послушно, как стадо мясного скота под кнутом погонщика, шло на убой. И еще хуже! Существуют сотни учебных заведений, где тысячи ученых обучают десятки тысяч неученых, как по всем правилам науки толпу живых людей превратить в кучу трупов! Наука на службе истребления! До этого, в эпоху варварства, не мог додуматься никакой Атилла, несмотря на всю свою свирепость! Наконец, еще одно явление: самих организаторов войн люди неизменно возводили в сан героев. Они любовно корпели над их биографиями, бережно передавали потомству описания их преступных походов в тысячах томов.

Я—химик Жибрам - Бетье—я пытался убедить людей по собственной воле отказаться от мании массового убийства, именуемого войной. Восемь лет тому назад вот по этим самым залам бродил совершенно мирный человек, одержимый одним страстным желанием — уничтожить войны простой инъекцией. И что он встретил? От него старались отделаться, как от налета проказы. Его чуть не спускали с этих лестниц услужливыми руками нанятых подлецов и дисциплинированных дураков.

О, милое моей человеческой душе—милое, подлое, великое и тупое человечество! Сколько вдохновенных, счастливых минут пережил я, обдумывая проблемы твоего возрождения! И сколько горячих слез пролил я, обозревая мыслью твою вековечную манеру расправляться с теми, кто тебе же нес свои силы и таланты! И как мне, который слышит только обвинение в том, что он враг рода

человеческого, не укрепиться в решении лечить твои воинственные склонности, не спрашиваясь тебя, и даже заведомо против твоей воли, как лечат больных в бреду!

Да,—это я одел в асепсанитас две армии. Я сознательно, сыграв на разрушительных, диких инстинктах ваших командных сфер, предложил разбрызгать по фронтам эссенцию, вызывающую в ткани свойства беспощадной липкости. Своими слабыми руками (их только две!) я не мог схватить за шиворот миллионы людей и отпустить их под условием инъекции, и за меня эту задачу блестяще выполнил мой асепсанитас, продукт моего гения. Он охватил ваших бойцов безжалостными присосками и готов высосать из них их жизни, а освободит их только тогда, когда захочу я. Вы все — командиры армий, вы—ничто! Теперь командир их и вас всех—я!

И вот, перед лицом всего мира, который прислушивается так же, как и вы, к каждому звуку моей речи, я, я, химик Жан - Жак Жибрам - Бетье, объявляю: Я дам свободу и жизнь всем миллионам прилипших, но каждый из них за свою жизнь обязан предварительно подвергнуться некоторой инъекции. В его мозг будет влита всего две капли жидкости с целью убить всякую склонность не только к войне, но и просто к вражде. Операцию вливания я готов начать немедленно, как мне дадут возможность. С другой стороны, правительства подпишут со мною акт о том, что они обязуются подвергнуть инъекции все мужское население в возрасте от 17 до 40 лет в течение ближайших лет. Для этого организуются специальные пункты и уделяются государственные средства.

Бетье приподнялся, окинул горящим взглядом аудиторию и крикнул: — Господа! Вы слышали мои условия. Клянусь лучезарной идеей мира!—Я не отступлюсь от них даже перед пытками! Но если вы согласны,—тогда я и вся моя жизнь—в вашем распоряжении.

Несколько минут длилось молчание. Затем разразилась буря. Взви-

лись кверху кулаки и голоса. Кто кричал:—Смерть предателю!—Кто:—Его надо охранять, чтобы не убили...—Кто:—Он великий реформатор!—Кто:—Он просто авантюрист!—Часть депутатов выражала полную солидарность со взглядами и поведением химика и решила сейчас же организовать партию «бетистов», чтобы пропагандировать его идеи. Другая часть требовала изгнания из Франции «бетистов». На некоторых скамьях начиналась схватка...

Затем химику задали вопрос:

— Почему он не хочет совершить свою инъекцию после освобождения всех от липучки?

— Почему? Да просто потому, что, освободившись от нее, люди могут не захотеть инъекции, а меня несомненно уничтожат!

— А если население откажется выполнить договор с вами об инъекции, что тогда?

— Что? А что вы делали, когда население отказывалось прививать или соблюдать карантинные правила во время чумы, холеры и т. п.?

К президенту наклонился генерал Серсиль и сказал:

— С фанатиком, м-сье, не придется спорить... Пожертвуем мозговыми полушариями этих миллионов, чтобы избавить их от ассепсанитаса. А там—мы не знаем, что будет... Примем и подпишем договор.

XIII.

12 мая, в 6 часов утра, Жибрам уже работал в амбулатории. С одной его стороны стояла кучка ассистентов в белых халатах, а с другой—толпа «залепленных», как они сами себя называли. Залепленные были обеих национальностей—французы и англичане. По договору, и те и другие пользовались инъекцией на равных правах. Снаружи здания, у дверей, тысячи «залепленных» запередили улицу и, бледные, худые, злые, стонущие, оспаривали друг у друга очередь прививки.

К химику подводили людей с выбритыми начисто головами. Они сиделись перед ним на стул. Указательным пальцем он нащупывал ка-

кое-то, ему одному ведомое, углубление на черепе. Потом накладывал на него платиновую пластинку с миниатюрным моторчиком, штифтами и крошечной вороночкой сверху. В вороночке виднелась прозрачная жидкость. Жидкость смачивала крошечное платиновое сверло. Моторчик мгновенно быстро вращался. Химик затем брал короткий тонкий шприц, вкладывал в просверленное отверстие и впускал две капли фиолетоватой жидкости. Наконец, прикладывал к отверстию смоченную ватку, и «больной» вставал. Ему сейчас же вручался маленький флакончик с мутной розовой жидкостью—«дезассепс». Нескольких его капель на рукомыльник воды достаточно было, чтобы вода приобрела свойства смывать липкий ассепсанитас без остатка.

— Берегите жидкость. Второй порции вам не будет дано. Следующий...

Среди ассистентов Жибрама были известные врачи и ученые. Они пребывали здесь волею химика и предписанием министра здравоохранения. Их назначение было в том, чтобы научиться угадывать на черепных крышках «залепленных» те самые углубления, под которыми таился «воинственный» узелок человека.

— Вот—видите? Бугорок — справа от этого места, несколько синеватого оттенка; я его называю бугорком № 13, если счет вести от лба, и другой слева—№ 9. Углубление всегда между ними... т. е. большею частью. Строго говоря, их расположение индивидуально... Бывает и наоборот: № 13 помещается слева, а 9—справа. Иногда они располагаются даже так, что один спереди, а другой сзади, но тогда углубление передвигается немного к середине темени. Понятно? Впрочем, я покажу.

— М-сье Жибрам! А вот здесь в одном месте три возвышеньица, а углубления совсем нет. Где же оно?

— А потому его и нет, что на его месте этот бугорок. Его и надо пронизывать.

— Следовательно, углубление бывает не всегда?

— Конечно, я и не говорил, что всегда. Понимаете — и индивиду-



Сам Бетье делал прививки быстро, почти с проворством машины...

а льно... Но вы не смущайтесь. Вы привыкните и дальше станете это место находить наугад, чутьем, по еле уловимым признакам. Я, например, могу его угадать в темноте, на ощупь...

Ассистенты добросовестно смотрели, шупали, но таинственное углубление им не давалось. Между тем, сам Бетье работал быстро, почти с проворством машины, и два десятка парикмахеров едва успевали брить головы «больным», непрерывным ручьем втекавшим в амбулаторию.

Один из врачей приспособился только вливать капли в отверстие, просверленное Жибрамом. Но и тогда за день успевали совершить инъекцию лишь тысяче человек. А их были миллионы.

Первыми под шприц химика пошли командующие частями войск. Жибрам сделал такой отбор из своих соображений: командный состав он считал более пропитанным воинственными традициями, чем солдат.

— У них и узелки больше... объяснял он окружающим.

Но привилегия быть освобожденным от липучки ранее, в первую очередь, вызвала возмущение среди «облепленных». Офицеры и генералы сначала? Почему? Равенство! Здесь

должен быть соблюден тот же процент, что и в действующих частях! Там на 50 солдат приходился один офицер. Пусть та же пропорция имеет место и здесь...

На второй день работа Бетье ускори­лась: он намечал лишь точку, где необходимо производить сверление. Само сверление делал ассистент. Работа ускорилась до 2.000 человек в день. И все-таки цифра была ничтожно мала по сравнению с миллионами «облепленных». На это обратили внимание Бетье.

— Но, черт бери! Пускай же учатся! Не виноват же я, что в ассистенты мне командируют двойковыпуклых дураков!

«Дураки» старались изо всех сил, отыскивали «воинственные» центры самостоятельно, и, отыскав, пытались делать вливание. Однако после их операций большая часть «больных» или умирали, или заболевали тяжелыми формами мозгового расстройства. Их неудачи вызвали новое возмущение. К ним никто не хотел идти под шприд.

XIV.

ЕЩЕ через день утром химик донесли, что толпа напала на лабораторию, где изготовлялся дезассепс, разгромила ее, разграбила флаконы

и баллоны с жидкостью, а оборудование изувечила. Необходимо нужно было спешно создать новую лабораторию. «Залепленные» требовали расстрела виновных.

Через несколько часов на улице, перед амбулаторией, возник спор между штатскими и военными. Они пререкались из за первой очереди на прививку. Военные основывали свое право на первенство на том, что они «проливали кровь», а штатские—на том, что в тылу они изготовляли одежду, вооружение, пищу для военных.

— Очень хорошо нас одели... в асепсанитас, — кричали военные, — за такую одежду вешать надо...

— А вы зачем в нее одевались? Боялись пух? Трусили?

— А вы зачем? От храбрости? Не боялись, что прилипнете? Если не боялись, идите последними, а мы пойдем первые...

Спор перешел в драку. Вмешалась полиция. Так или иначе являлась необходимость очередь привести в порядок.

Прошли еще сутки.

Из Англии пришли сведения об огромных демонстрациях «залепленных». Они негодовали на медленность инъекции и требовали от правительства ее ускорения.

Затем в обоих государствах началось массовое умирание «залепленных» от удушения. Трупы их часто находили прямо на улице. Они производили страшное впечатление: лица их были темные, посиневшие, как у удушенных. Там, где сорвана была одежда, виднелась творожистая липкая масса. Особенно много их было в районе фронта.

Стала развиваться паника, как во время эпидемии. Многие думали, что липучка—заразная болезнь. В Англии говорили, что облепление устроили французы, во Франции—что англичане. Всем казалось невероятным, чтобы один человек мог «нанустиить» липкость на два государства и не желает от нее избавиться из-за того лишь, что предварительно ему угодно сделать какую-то прививку.

Паника ширилась. Бежали из домов, где оказывался умерший «залеп-

ленный», отказывались их убирать. Отовсюду несяся плач, крики отчаяния. Возникали маленькие бунты, усмирять которые призывались войска. Очень часто во главе бунтующих стояли женщины и дети, неистово требовавшие от властей, чтобы их мужей, братьев или сыновей немедленно освобождали от асепсанитаса. Медленность прививок объясняли нераспорядительностью, тем, что докторам на «больных» хочется заработать, и тем, что первыми пускают генералов, а не простых солдат.

На дезассепсе возникла спекуляция. Спекулянты поджидали у дверей амбулатории «привитых» и за огромные деньги предлагали им уступить баночку с жидкостью. Продавших дезассепс обещали снова устроить в очередь.

Появились продавцы фальсифицированной жидкости. Но, обыкновенно, после того, как фальсификация раскрывалась, обманщиков жестоко избивали. Бывали случаи и ограбления обладателей дезассепса целой шайкой каких-нибудь родственников облепленного, дни которого были сочтены.

Открывались специальные лавочки для продажи средства от липучки, полученного тем или иным путем. Дезассепс крали непосредственно и у Бетье, часто тут же, в амбулатории, из-под рук.

Время от времени к химику врывался «больной» и говорил, что его обманули, что порция жидкости, данная ему, оказывалась никуда негодной, и просил новой порции.

Жибраму все время докладывали о положении «облепленных». Докладывали против его воли, с целью вынудить на изготовление большего количества жидкости и раздачи ее без инъекции. Его это всегда приводило в раздражение, и он стереотипно говорил:

— Получит тот, кому сделано вливание. И ни склянки больше. Война может и должна быть уничтожена с корнем!

— Но ведь вы не успеете прививку сделать всем. Ведь вас ожидают миллионы. Посмотрите — начинается

повальная смерть! Тысячи умирают от удушья!

— Я в этом не виноват: пусть мне помогают ваши ученые. Разве я их не брался учить, как прививать? А где они? С другой стороны—продлись война—разве людей не умерло бы те же миллионы? А здесь они живы и получают инъекцию.

— Но они не живы, они умирают...

— Я прошу вас,—резко обрывал Бетье,—прекратить разговор. Вы отнимаете у меня время и силы, а я за этот промежуток уже пропустил бы десяток человек...

От него отходили мрачные, раздраженные его упорством.

А он работал, не покладая рук, хотя организм его держался одним нервным возбуждением. Ему хотелось отдохнуть, заснуть, но разве он мог позволить себе сон, когда так много работы, когда он у цели и когда ее окончательное достижение зависело от того, успеет ли он пропустить через свои руки всех «больных». Ведь, он боролся с войной, и вот этими точками, что он отмечал на черепе «облипших», он наносил ей смертельный удар! И имел ли он право именно сейчас растрачивать свое время на глупый сон и безобразную еду!

В обоих государствах царил возбуждение. Бетье перепутала в них жизнь. Его липучка заслонила собою все: она стала центром внимания парламентариев, научных обществ, семейных бесед, уличной жизни, даже театров, даже кабака. О ней читались лекции, ее громил с церковных кафедр, изучали в лабораториях, о ней говорили и столетние старики, и трехлетние дети. И возбуждение росло. Вздвигался кверху огромный вал раздражения и злобы.

XV.

ОДНАЖДЫ утром, когда поглощенный работой химик ничего не замечал, он вдруг очнулся, потому что его кто-то усиленно тряс за рукав.

— М-сье, вас просят туда... на балкон... народ вызывает.

— Какой народ? Ведь, я же просил меня не беспокоить. Вы же сами торопите меня с прививкой!

— Но это, м-сье, исключительный случай. Вот вы выйдите, на минуту...

Бетье вышел на балкон. Одну сторону улицы, начиная от дверей, занимал хвост облепленных, а другую—огромная процессия детей. И как только он появился, детская толпа закричала сначала:

— Да здравствует Бетье! А потом на стул взобрался мальчик лет двенадцати и произнес с чых-то слов заученную речь:

— М-сье Жибрам! Мы—дети наших отцов, умирающих от липучки. Они не дождутся своей очереди и умрут. Мы останемся сиротами после них. Мы очень просим вас дать нашим родителям и братьям по склянке дезассепса, а вливание капель в мозги они обязываются сделать потом, как только вы им прикажете притти! Просим вас со слезами!

И дети упали на колени и стали плакать. Бетье стал красен, как кирпич. Ничего не сказав, он ушел с балкона и хлопнул дверь.

— Зачем эта комедия? Кто прислал сюда детей? Зачем вы без конца меня энервируете и мешаете планово работать? Я сказал раз навсегда, что от своей программы не отступлюсь!

Он снова углубился в работу. А на улице поднялся гул возбужденных голосов—детских и взрослых.

— Зверь!.. Подлец! Он морит людей! Смерть Жибраму-Бетье!

Гул то рос, то ослабевал, наконец, затих где-то вдали.

Работа шла час, другой... Внезапно гул возник с другого конца улицы. Усиливался, усиливался и перешел в рев. Жибрам оторвался от черепа, на котором он хотел поставить точку, и прислушался.

— Что там такое? Схватка, драка? Как будто нечто необычное! Возможно, что новая толпа «облепленных» нагрянула сюда и оттесняет занявших место перед амбулаторией, чтобы самой попасть на инъекцию.

Рев стал рости с ужасающей силой. В окна ворвалось несколько огромных камней, зазвенели разбитые стекла. Все переполошились. Сквозь ще-

ли в стеклах, вслед за камнями влетели иступленные крики:

— Смерть подлецу!! Подать его сюда!

В амбулаторию вбежало несколько человек растерзанных, бледных.

— М-сье, спасайтесь скорее!.. Вас убьют!!

Бетье бросил взгляд на дверь. Оттуда показалось несколько озверелых лиц. Взглянув на них, он мгновенно понял, что с ним сейчас же будет покончено, что он будет убит или изувечен если не убежит.

Спасаться! И он ринулся к противоположной двери. Зацепил за стол, распахнул дверь, побежал... Слышал, как преследователи от него не отставали, как за его спиной раздавалось отрывистое, хриплое рычание:

— ...Не уйдешь... нет... Ах, ты, гадина! Хватай его... Стой, скотина, тебе говорят! Стой!

Бетье со скоростью падающего камня катился по какой-то лестнице вниз, к подвалу, в темноту, где—он чувствовал инстинктивно,—ему легче скрыться с глаз врага.

И врага, вдруг, действительно, не стало слышно, а он с последней ступени куда-то прыгнул...

И почувствовал неожиданно, что ноги его увязли. Их сцепило нечто клейкое. Он не мог уже двинуться и бежать. Тогда он рванулся, потерял равновесие и упал.

— Аа! Что же это? Неужели асепсанитас? Да, да! Это она, его липучка! Он не может оторвать от нее своих ладоней и колен!

Тем не менее он встал, попытался двинуться и снова упал, теперь уже боком, коснувшись асепсанитаса щекой.

Рванулся, но щеку словно обожгло раскаленным железом, и что-то теплое и

влажное поползло по ней вниз. Неужели кровь?

Он вдруг почувствовал страшную усталость. Ах, как хорошо бы полежать, отдохнуть, выспаться!

Он перестал двигаться и прильнул тою же щекою к липкому ложу. Липучка в тот же момент завладела щекою, кончиком носа, частью рта, глазом. Больше половины его туловища было у нее в плену. Но им овладело непреодолимое чувство покоя, и в то время, как оно охватывало его сознание, липучка постепенно обволакивала его тело, залепляла его рот.

Внезапно сознание его проснулось. Да, ведь, это смерть! Он здесь один. Кто и когда сюда спустится, чтобы его отыскать? И как попала сюда липучка? Умереть здесь, одному, бесславно и бесполезно! И погибнут миллионы залепленных! Он ставил их жизнь на карту, сознательно ставил, но он хотел сохранить сотни миллионов человеческих жизней в будущем. Он хотел возродить все человечество. И теперь он умирает... И точно молния прорезала его сознание. В своем бессилии физическом он вдруг прозрел и познал, как бессильна была его гордая идея—одному и поработить, и возродить весь мир. Жалкий безумец, он хотел сам, один, прекратить вражду на земле. И вот...

Он еще раз рванулся, встал, упал, снова встал. Наконец, опрокинулся навзничь, с силой залепленными руками освободить от ткани рот. И совершенно его закрыл. Тогда он стал кричать о помощи и биться. Но это были уже предсмертные, хриплые и глухие вопли... Он был окутан асепсанитасом, как покойник саваном. Липучка задушила его.



Рассказ Б. НИКОНОВА

Иллюстрации И. ВЛАДИМИРОВА

Моя жена уехала в Москву.

Я проводил ее и вернулся с вокзала домой пешком через поля. У нас вокзал находится далеко за городом, и к нему ведет широкая дорога, обсаженная вековыми березами. Дорога красивая, удобная и поэтическая, но очень длинная. По ней лишь ездят. А пешком ходят прямо по полю, пешеходными уютными тропинками и маленькими мостами через овраги. Так гораздо ближе.

Поезд ушел вечером, когда уже розовели верхушки деревьев и догорали последним ярким блеском окна домов и церковные кресты. Розовел на солнце и дым поезда, и у меня было такое мимолетное впечатление, будто я на все смотрю сквозь розовые очки. Я провожал поезд глазами, пока не нырнул в лес последний вагон. Над деревьями закрубилось розовое облачко и исчезло... И я подумал: «Это розовое облачко—последний привет Нади. Это—ее мысль, ее забота обо мне!»

Я шел, не торопясь, домой. Торопиться было некуда. Меня никто не ждал дома. Мне было слегка грустно, но в то же время отъезд Нади был для меня приятен. Я сам с трудом признавался себе в этом, но все-таки ощущение розовых очков не пропадало... Я любил жену. Мы жили очень дружно. Но с течением времени мне все более и более хотелось—хотя бы на краткое время—домашнего одиночества и свободы. Люди устают друг от друга и утомляют один другого, даже самые близкие. Утомляет однообразие разговоров, интонаций, привычек. Утомляет (что греха таить!) и

та мелочная опека, которой так часто грешат супруги по отношению друг к другу. Я боюсь это утверждать, но это вполне возможно: ту же усталость и жажду свободы, хотя бы самой маленькой и невинной, быть может, испытывала и Надя, когда она решила побывать в Москве у дяди, показаться московским врачам (без всякой особой надобности!) и сделать кое-какие покупки (тоже). Я не мог поехать вместе с ней, потому что был связан службой.

Я шел, не торопясь, по благоухающей полевой дороге и испытывал двойственное ощущение. Мне было как-то неловко, не по себе, словно я потерял что-то, или заблудился, оставшись в одиночестве. И в то же время у меня было легкое чувство свободы и независимости. Я походил на школьника, которому дали продолжительный вакал. Бывало, в детстве я бродил вот так-же, как сейчас, по полю в первые дни каникул, и тоже чувствовал будто что-то потерял и чего-то мне не хватает—и одновременно с этим меня охватывало непривычное и странное чувство свободы. Правда, теперь все это было немножко сумрачнее: не было прежней безоблачности...

«Что я буду теперь делать, пока Нади нет?»—в сотый раз спрашивал я себя. Обязательной служебной работы летом у меня было мало; дни были долгие. И я решил, что буду теперь целыми часами сидеть на реке с удочкой. Надя не любила моего увлечения рыболовством, потому что она оставалась тогда одна дома и скучала. А если приходила ко мне

на берег, то тоже скучала и тоже оставалась одна, ибо я за своими удочками забывал все на свете. Но теперь скучать и оставаться дома было некому, и я не без удовольствия помышлял о рыбной ловле.

Но с еще большим удовольствием, почти с восторгом я помышлял о другом,—совершенно новом для меня удовольствии, которое меня нынче ждало и тоже требовало одиночества и забвения всего на свете: о радио!

Оно, правда, еще не работало. В кабинете у меня уже стоял радиоприемник, но не была поставлена антенна. Мне обещали все устроить и наладить завтра или послезавтра. Надя, уезжая, говорила: «Ну, теперь я буду спокойна: ты будешь по вечерам сидеть дома и слушать концерты вместо того, чтобы промачивать ноги на реке!» А я ей говорил: «Я буду слушать Москву и таким образом буду там вместе с тобой!»

Уютные полевые тропинки, пахнущие медом и мятой, привели меня незаметно в город и сменились деревянными тротуарами. Вот и моя квартира в одноэтажном сером доме с палисадником. У калитки чья-то коза жует только что сорванную со столба афишу о концерте. Уходят по зеленой травке на покой гуси. Так все тихо тут и патриархально! А Надя в это время несется в громыхающем поезде в громыхающий, загадочный, и жуткий город, в бешеную сумятицу столичной жизни... Завтра или послезавтра и я приобщусь к этой громыхающей сумятице: волшебные струны радио расскажут и мне о ней!

В комнатах было тихо и прохладно. Я с некоторой опаской думал о моменте одинокого возвращения: не покажется-ли мне чересчур печальным мой опустевший приют? Но нет, я не стану лгать! Дом опустел, но мне это не было тяжело. Я лишь еще раз почувствовал свободу и покой...

Я долго пил чай, а потом побрел в кабинет и любовался радиоприемником. «Завтра»—говорил я себе: «Завтра я поверну вот эту штучку, падену на голову, вот эту рогульку с радиоушами—и в меня войдет це-

лый новый мир: лекции, декламация, музыка! Как все это необыкновенно!

На другой день не случилось ничего необыкновенного. Утром я поскучал немного о Наде, побеспокоился, почему нет письма? Потом присидел свои шесть часов в канцелярии. Потом пообедал. И после обеда получил открытку от Нади. Она писала с дороги: «Еду отлично! Здорова, и все благополучно! Береги себя!» У меня сразу отлегло от сердца, и я со спокойной совестью отправился рыбачить. Совет Нади беречь себя я понял в том смысле, что следует надеть галоши, чтобы не промочить ног. Но галоши я оставил в траве и вспомнил о них только ложась дома спать. Утром бегала на берег Марфуша, но галош уже не оказалось. Я решил не писать об этом Наде, чтобы не портить ей настроения.

Антенна была готова. Я с нетерпением ждал вечера. Я ждал минуты, когда можно будет, наконец, вступить в таинственное и чудесное общение с эфиром. Я уже заранее знал, что с шести часов будет передача из Москвы. Меня крайне занимала мысль: может быть на том концерте, который я буду слушать по радио, будет присутствовать там, в Москве,—Надя. Может быть, я даже услышу ее голос, если ей вздумается кричать «браво» или вызывать артистов? Как жаль, что я не уговорился с ней заранее относительно этого! «Непреренно напишу ей об этом!»—решил я.

Рыбачить я уже не пошел; я был слишком поглощен радио. Я постарался обставить радио-сеанс наивысшим комфортом: поставил столик с приемником в прохладный уголок у окна, придвинул широкое мягкое кресло и даже надел на себя широчайший халат, чтобы ничто не стесняло меня и не отвлекало от наслаждения. Мне странно вспоминать теперь обо всем этом ребячестве после того, что потом произошло...

И вот, я, наконец, познал тайны радио-вещаний!

Я услышал проникновенные, задушевные слова, произносимые прият-

ным баритоном: «Алло, алло! Слушайте, граждане! Говорит Москва!» За пятьсот километров баритон говорил мне так-же легко, просто и громко, как будто находился со мною рядом, здесь, в комнате! Затем слышались звуки скрипки. Я живо, почти до галлюцинации, представил себе, что сижу в громадном ярко освещенном зале. Рядом со мною сидят чудесные красавицы, нежные и грациозные, как лебеди, и красота их странно и чудесно сочетается с пением скрипки, словно они образы, порожденные музыкой. Потом запел тенор—и предо мной открылись какие-то сказочные палаты с хрустальными колоннами. Заиграл оркестр—и в хрустальных палатах в светлой пляске закружились люди с цветными факелами в руках. Потом грянул тяжкий громовый раскат, зазвенели разбитые хрустальные окна, и нахлынула орда разбойников. Я слышал дикие вопли, звон оружия. Вспыхнуло пламя и охватило все собою, и с грохотом упали и разбились хрустальные колонны, и все потемнело и пропало. И смолкли последние звуки оркестра...

Я был в восторге: Я бредил на яву под влиянием музыки и сознания, что я приобщен к чудесам человеческого гения. Я был в эти мгновения абсолютно, безоблачно счастлив. Я был в каком-то трансе лучезарного благополучия.

Концерт кончился. Задушевный голос объявил: «Граждане, слушайте, слушайте! Сейчас вы услышите бой часов Спасской башни! А перед этим послушайте шум уличного движения в Москве. Даю Красную площадь!»

И я вдруг почувствовал себя перенесенным с концерта на городскую улицу. Сказочные образы исчезли. Мне ясно представилось, что кругом меня в синеватом свете уличных фонарей сновали темные фигуры прохожих. Кто-то смеялся, кто-то громко чихнул. Шаркали шаги по тротуару. Визжал, и скрежетал, и звенел трамвай. Эти звуки—и чиханье человека, и звонки трамвая, передавались удивительно реально. Понимался грохот телеги и понуканье извозчика. То тут, то там вспыхива-

ли голоса людей и сливались с другими уличными звуками в какую-то странную, немного дикую симфонию. Шум огромного битком набитого людьми города звучал в моих ушах, концентрируясь в коробке приемника. Какой чудесный гений мог заключить в эту небольшую металлическую коробку всю эту призрачную, немного жуткую ночную жизнь Москвы?

Я подумал: «Где-то сейчас Надя? Может быть, сидит с дядей в шикарном ресторане после концерта? А может быть, уже давно спит у себя в комнате?»

Взвыл грубым ревом автомобиль. Как хорошо было слышно его! Как отчетливо! Послышались испуганные голоса: «Стой! Держи!» Как чудесно передавался тембр голосов и выражение! Я засмеялся от удовольствия. Сидя у себя дома, за полтысячи верст от Москвы, я присутствовал при каком-то уличном московском скандале! Не замечательно-ли это? Не смешно-ли?

Разлилась трель милиционерского свистка. Как славно свистят московские милиционеры: даже у нас слышно! Вот, придет Надя, я расскажу ей, и мы посмеемся!

Вдруг меня словно обожгло. Я вскочил и едва не оборвал шнур.

В гуле площади, в реве автомобиля, с которым очевидно что то случилось, среди испуганных и гневных голосов я ясно расслышал крик Нади...

Кричала Надя! Это была она! И как кричала! Так кричат люди лишь в минуты опасности и отчаяния... И самое страшное было то, что она звала меня!.. Звала привычным уменьшительным ласковым именем, как, бывало, звала в минуты замешательства, когда нужно было помочь ей...

Я обливался холодным потом. Шум Красной площади звучал в ушах, хотя я уже снял аппарат. Я чувствовал, что схожу с ума. Я снова надел радио-уши: крики прекратились. Слышалось мелодическое пение колоколов кремлевской башни.

Я бросил радио. Я сновал по комнате из угла в угол в величайшем

волнении. Что это было? Неужели это галлюцинация? Или просто ошибка? Совпадение имени, голоса?

Нет, это было все не то! Если это галлюцинация, то почему такая злоедающая, такая ужасная, в то время, когда я был настроен самым розовым образом? И если это простое совпадение, то как могло случиться, что совпало сразу так много обстоятельств?

А если это кричала в самом деле Надя? Что с ней случилось на площади? Почему она звала меня?

Я не спал всю ночь и чувствовал, что схожу с ума. Рано утром я побежал на телеграф и отправил дяде телеграмму: «Здорова-ли Надя?»

Утром, на свету, в шуме дня, мне стало немного легче, и я уже был готов считать все случившееся простой галлюцинацией. Мне было даже немного неловко телеграфировать дяде. Поэтому я и придумал такую форму: «Здорова-ли Надя?» вместо первоначальной: «Что случилось с Надей?» Первая редакция была вполне естественна для заботливого мужа. Вторая же могла показаться нелепой, если с Надей ничего в действительности не случилось.

Ответа я ждал с страшным волнением. Я старался внушить себе, что все благополучно, и что я зря впал в такое паническое настроение. Тем не менее, я даже не пошел на службу: такой хаос был в моей душе.

Через несколько часов пришел ответ: «Приезжай немедленно.»

Я был совершенно обескуражен. Я пал духом. Все остальное я припоминаю теперь как во сне. Помню, что выехал с тем-же вечерним поездом, с каким выехала три дня назад Надя. Помню, что так-же розовели дома в огне заката, и сияли кресты на соборе. Помню, что я ехал в переполненном жестком вагоне, не имея возможности даже присесть. Я всю ночь простоял на площадке у окна и чувствовал, что все равно не могу ни спать, ни забыть. Я напряженно вглядывался вперед, стараясь различить в утренней дымке громадный страшный город с его Красной площадью, шум которой ворвался в мое сознание и отравил меня ужасом, тоской и ожиданием какого-то неоправданного бедствия...

На вокзале меня встретил дядя.

— Ну, что?—только и мог я спросить сдавленным голосом.

Он обнял меня за талию и повлек куда-то в сторону. У него был страшный вид: растерянный, беспомощный.

— Едем скорее к Наде!—сказал я.—Что с ней?

— Поспеем! Нет надобности торопиться!—бормотал он, не глядя на меня:—Давай, поговорим...

— Что вы говорите?—воскликнул я.—Почему не надо торопиться? Где Надя? У вас?

— Она очень, очень больна!—бормотал старик.—Тяжко больна, мой бедный друг!

— Послушайте,—сказал я. С ней случилось что-то? На Красной площади?

— Да, да!—произнес он удивленным тоном:—Как ты узнал? Именно, там!.. Но не



Вдруг меня словно обожгло. В гуле площади, в реве автомобиля, среди испуганных и гневных голосов, я ясно расслышал крик Нади...

систематический ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

В каждой книжке «Мира Приключений», начиная с этой декабрьской, будет печататься по одному рассказу на премию в 100 рублей для подписчиков, то есть в течение 1928 года будет дано 12 рассказов с премиями на 1200 рублей.

Основное задание этого Систематического Литературного Конкурса нового типа—написать премируемое окончание к рассказу, помещенному без последней, заключительной главы.

Цель этого Систематического Литературного Конкурса—поощрить самостоятельность и работу читателя в области литературно-художественного творчества.

Рассказ-задача № 1

ГДЕ ВЫХОД

Иллюстрации

С. ЛУЗАНОВА

1.

Они задержались на маленькой терраске, примыкавшей к дачке. Доктор написал несколько слов на листке блокнота, затем подал листок провожавшему его мужчине. Тот прочитал: «Все признаки истерии. Постарайтесь создать спокойную обстановку. Ни в чем не противоречьте больной».

Доктор ушел. Мужчина проводил его за калитку и стал смотреть печальными голубыми глазами на растставшуюся перед ним картину.

В одной из двух небольших комнат, на старом потрепанном диване лежа-

ла молодая женщина с трагической складкой между бровями. Плотнo сжав, почти закусив тонкие губы, она, не мигая, смотрела в угол.

Мужчина молча опустилcя на стул и, подперев голову руками, уставился на женщину.

—Что сказал доктор?—спросила женщина, не меняя положения.

Мужчина по движению губ понял вопрос и ответил глухим, странно неестественным голосом:

— Говорит, сильно расшатавы нервы. Необходим покой.

— Осел. Это и без него знают.

Женщина закрыла глаза. Мужчина украдкой вздохнул. Странное впечатление производило лицо мужчины: оно казалось одновременно и молодым, и старым. Глубокие напряженные морщины залегли наискось высокого, ясного лба. Такие же морщины оттягивали углы рта. Напряжение чувствовалось во всем: в голубых страдальческих глазах, в повороте головы, слегка склоненной на бок, в движениях каждого мускула на тонком, сухом лице. Черты лица были как будто правильны и красивы. И в то же время что-то неумовимо ассиметричное придавало этому лицу неестественное выражение.

В наступившем долгом и томительном молчании было слышно, как в кухне за печкой с назойливой пискотней возились мыши, как за открытым окном, на кустах обтрешанной рябины, гомонили воробьи. С поля монотонно, без перерывов, доносилась незамысловатая песня жаворонка.

Мужчина не слышал ничего этого, как вообще не слышал никаких звуков. Не отрывая взгляда, он следил за плотно сжатыми губами женщины: он был совершенно глух.

2.

«Уважаемая Инна Павловна!

Это—не ответ на ваше письмо. Я пишу независимо от него, имея потребность высказаться и объясниться. Ведь рано или поздно все равно этого не избежать. Вы упрекаете меня, будто я позабыл вас и охладел. Это не верно. Я вас, вероятно, никогда не забуду. Слишком трудную и тернистую, но вместе с тем—прекрасную дорогу мы прошли вместе. Однако, сейчас,—вы должны понимать это,—нам гораздо человечнее поить различными путями. Кроме чувства к вам во мне с наименьшей силой живет чувство к Николаю, моему старому, испытанному другу. Разумеется, это чувство совершенно иного порядка. Я не знаю, где мне взять слов, чтобы вы поняли меня! Поняли своим чутким, милым сердцем, своим ясным, возвышенным умом. Верьте, это не лесть. Какая уж тут лесть и кому

она нужна при нашем положении! Чтобы распутать нелепый клубок нелепых отношений, мне хочется быть простым и ясным, хочется найти самые нужные, понятные слова, хочется, чтобы вы восприняли эти слова не чувством,—чувство плохой советчик,—а своим здравым умом, которым я всегда восторгался. Я несколько пугаюсь, брожу вокруг да около. Не припишите мою растерянность обычному в таких случаях со стороны мужчины заматанию следов. Верьте, в моих побуждениях нет и тени эгоизма. Мне хочется только быть элементарно-человечным и, если не развязать, то разрубить провялый узел, но разрубить, по возможности, безболезненно для близких мне людей. Из нас троих, связанных в этот дурацкий узел, кто-то должен пострадать кто-то принести маленькую жертву. Первым кем-то,—это ясно,—должен быть тот, у кого упорнее воля, кто более приспособлен к жизни. Таковым я считаю себя. Взглянем на положение, как на задачу, нас совершенно не касающуюся, разрешить которую нам надлежит из простого любопытства.

Вы—жена Николая, но вы и моя жена в то же время. В культурном быту такая комбинация нетерпима. Правда, складываются подобные комбинации часто, слишком часто, но, заметьте, всегда отравляют радость существования, если только у входящих в них не совсем атрофировано чувство личного достоинства.

Из нас троих самый слабый—Николай. Он не может существовать без сторонней поддержки. Следовательно—за ним все права на то, чтобы не быть выбитым из привычной обстановки. Далее идете Вы. Вам поддержка необходима не менее, чем ему. В Николае вы ее найдете морально. Он вас любит, боготворит, вы это знаете и не можете равнодушно пройти мимо этого. Проверьте себя, отважьтесь кое-чем поступиться, попробуйте стать чуточку выше мещанской толпы. Что касается материальной поддержки,—я понимаю,—Николай в этом смысле плохая опора,—вы ее найдете во мне. Без предрассудков и ложных само-

любий! Я прошу и настаиваю на этом во имя нашей дружбы!

Теперь — главное. Видеться мы с вами больше не должны. Ни видеться, ни переписываться. Пусть мы умерли друг для друга. Постараемся перестрадать и стойко перенести эту взаимную потерю... Обдумайте, не спеша, это письмо. Продумайте заключенные в нем доводы, как долго и всесторонне продумывал их я. Других выходов я не вижу. Постарайтесь, чтобы это письмо не попало в глаза Николаю. Это было бы беспредельной жестокостью.

Будьте счастливы. Порже возвращайтесь мыслью к прошлому.

Владимир Казаров».

Инна Павловна в десятый раз перечитывала письмо. Она то впадала в оцепенение, то металась по дачке, в отчаянии ломая руки. Несколько раз она раздражалась по-детски шумными слезами. Временами она принимала решение последовать доводам Казарова. Через минуту вскакивала, сидела к столу, чтобы написать ему умоляющее призывное письмо, но, не докончив, бросалась по лестнице, ведущей в мезонин, с намерением на груди мужа выплакать всю свою взбаломученную душу. Наконец, изнемогая в бессильной борьбе с собой, она упала на диван и забилась в судорогах мучительной истерики.

Наверху, в мезонине, слышались спокойные, неторопливые шаги глухого художника Николая Сергеевича Крамова.

3.

Крамов когда-то подавал блестящие надежды. Он окончил лауреатом Академию Художеств, получил заграничную командировку.

С Инной Павловной он познакомился на одном любительском спектакле в клубе. Это была совсем юная девушка, почти девочка, скромная и застенчивая. Шутя начавшееся знакомство вскоре перешло в серьезную связь, скрепленную обоюдным глубоким чувством.

Инна с жадностью, легко, хватала знания. У нее оказался талант к му-

зыке и небольшой голосок. Она занималась тем и другим, но без мысли стать артисткой. Когда родился ребенок, Инна сразу забросила все и с жаром отдалась созданию уюта для народившейся семьи. Крамов был счастлив. Он безумно любил жену и ребенка и чувствовал в себе прилив сил, способный перевернуть весь мир. Когда выяснилась заграничная поездка, он решил взять с собой Инну и ребенка.

Нагрянувшая война перевернула все планы. Крамова призвали в войска. Годы войны были для Инны сплошным кошмаром. Лишенная поддержки мужа, без всяких средств к существованию, она выбивалась из сил, чтобы прокормить себя и мальчика. Она давала грошовые уроки музыки, позировала натурщицей, состояла сиделкой при сумасшедшей старухе, занималась стирать белье.

В начале революции вернулся Крамов. В самый день его приезда мальчик, заболевший незадолго до этого скарлатиной, умер. Инна к этому времени представляла собою сплошной комок обнаженных нервов. Немногим лучше чувствовал себя и Крамов. Чтобы забыться после потери сына и наверстать упущенное время, он лихорадочно принялся за работу. Однако, не надолго. Вспыхнувшая гражданская война вновь бросила его на фронт.

В судьбе Инны на этот раз принял участие товарищ Крамова по академии, Владимир Николаевич Казаров, человек идеальной порядочности, но несколько суховатый, занимавший в то время в Петербурге один из революционных постов. Он определил Инну на службу, оказывал ей моральную поддержку, будил в обессленной женщине веру в лучшее будущее и вообще следил за каждым ее шагом. Молодая женщина с надломленной волей чувствовала глубокую признательность к другу своего мужа. Между Инной и Казаровым возникла искренняя, чистая и светлая дружба. Любовь к жизни и сочувствие к человеческим страданиям являлись взаимной притягательной силой. Вскоре дружба незаметно перешла в более

острое чувство, в чем, однако, обе стороны не хотели сознаться себе даже в мыслях.

Крамов в это время метался по гражданским фронтам: из Крыма на Волгу, с Волги в Сибирь, из Сибири на Белое море.

Весной двадцать первого года Инна получила уведомление, что Николай Крамов погиб под Архангельском при взрыве поезда со снарядами, произведенном английским отрядом. Это известие наполнило все существо молодой женщины чувством невозместимой утраты, близким к отчаянию, и в то же время пробудило какое-то смутное предчувствие возможности иного, неизданного счастья. Когда миновал острый период печали, случилось то, что должно было случиться: Инна и Казаров как-то незаметно сошлись и стали жить вместе. С обеих сторон было налицо испытанное, хорошо проверенное и надежно взвешенное чувство, обещавшее идеальный брак.

Однако, безпозднейшая, поздно созревшая натура Инны очень скоро прорвала идиллические берега тихого, безмятежного счастья. Ее чувство, полное бурных порывов, перешло в кипучую страсть к Казарову и то и дело нарушало мирное течение пасторали. Неизжитые, неиспользованные силы молодости лавой обрушились на несклонного к бешеным взлетам, резонерски-рассудочного Казарова. Начались неприятные семейные сцены, упреки в холодности с одной, и упреки в безрассудности с другой стороны.

В момент одной из таких семейных неурядиц Инне принесли письмо, адресованное Инне Павловне Крамовой. Письмо было послано из Дувра

месяц назад и подписано Николаем Крамовым.

В письме сообщалось, что при взрыве поезда, случившемся вдали от русских постов, Николай был по добран англичанами почти в безнадежном состоянии, весь израненный и истекающий кровью. После года тасканий по английским госпиталям он оправился настолько, что мог считать себя относительно выздоровевшим, за исключением совершенно и навсегда потерянного слуха. Далее Николай писал, как жадно он мечтает о возвращении на родину, как жаждет весь отдаться любимой работе, что он носит в голове план грандиозной картины, которая при умелом выполнении может явиться шедевром и принести ее творцу и славу, и положение. Далее следовало многословное описание плана картины, которая, по мысли художника, должна была вселить в

человечество непреодолимое отвращение к страшному чудовищу, именному войной. По страстному тону этой части письма было заметно, что Николаем овладела властная

идея-фикс, вряд ли здоровая в его положении. В примечании указывалось, что письмо является одним из многих, посланных им, наудачу, в течение последних месяцев.

Письмо произвело на Инну Павловну жуткое впечатление. Она чувствовала себя совершенно опустошенной, вывернутой наизнанку, потерявшей способность соображать и взвешивать. Самым желанным для нее казалось ни о чем не думать и безвольно отдаться капризному потоку жизни. Стоит ли бороться, когда все так непрочное и изменчиво?



Владимир Казаров.

Казаров, наоборот, сильно волновался, он не спал ночей, взвешивал малейшие обстоятельства морального и этического свойства. Вед с Инной (при ее абсолютном молчании) пространные беседы о законах дружбы и долга, о необходимости подчинять чувства воле, об умении приносить жертвы. Казаров был искренен и сильно страдал. После нескольких дней борьбы с самим собою, он сообщил Инне о необходимости восстановить прежнее положение.

Инна в ответ только молча пожала плечами. Владимир Николаевич написал Крамову обстоятельное письмо, с подробным объяснением всего случившегося, торжественно отказался от своих прав, выслал денег на дорогу и стал ждать. Инна Павловна, наглухо замкнувшаяся в себе, первая предложила разъехаться на разные квартиры.

Через два месяца вернулся Крамов.

4.

«Владимир!

Если бы я меньше знала тебя, я подумала бы, что ты просто нечестный человек. На несчастье—ты честен и искренен. Ты пропитан условностями, узаконенными предрассудками, накрахмален этикой. К тебе страшно подойти обыкновенному, слабому человеку.

Не знаю, плохо это или хорошо. Знаю только одно—ты не прав. Не прав ко мне, к себе и, быть может, даже к Николаю. Ведь кто знает, как лучше?

Скоро пять лет, как начались мои невыносимые страдания. Я их тебе прощаю. Но я не могу простить тебе твоего садического отношения к нам обоим—к тебе и ко мне. Не могу простить тебе,—извини меня,—твоей порядочности. Я предпочитаю, чтобы человек был человеком, со всею неразберихою своих чувств и желаний, а не мертвым правилом. Так понятнее и ближе. Ты меня любишь, я это знаю. Но, любя меня, ты все же мне враг, а еще более враг самому себе. Это несомненно так, и я не могу этого постичь, не могу понять и вместить. Быть может потому,

что я все же—женщина и прежде всего чувствую, а уж потом размышляю. А чувствую я многое и страшное. Чувствую, что моя жизнь исковеркана, что меня засасывает бездна, что я растеряла все человеческое, чувствую беспрерывное страдание и ничего больше. Кто в этом виноват? Не думая, скажу—ты. Подумав, скажу—то же. Я представляю, как кривятся твои губы и шепчут: «какая безнравственность!»

А что нравственно? То, что я изнемогаю под тяжестью свалившегося на меня несчастья? То, что ты разгуливаешь с гордо поднятой головой честного человека? То, что Николай, на фоне моих страданий, малюет свой шедевр?

Пусть так! Только не нужно забывать, что каждый человек имеет право на жизнь. Имею его и я! Так не отнимай же у меня этого права, если ты хочешь быть по настоящему честен!

Ты знаешь, я люблю Николая. Это—одно. Но в то же время мне невозможно жить и без тебя. Это—другое. Мне суждено носить в моем исковерканном сердце две любви, и обе они, при всей их глубине и искренности, так различны. Обе они—мое проклятие.

Я не прошу у тебя ни жалости, ни сострадания, не прошу ничего. Я только хочу, чтобы ты понял меня. Николай меня понимает, но это мне не нужно. Ты—нет, и это родит во мне отчаяние. Ты своею преступной честностью множишь его во мне бесконечно. Ты вправе спросить: чего я хочу от тебя? Пусть на этот вопрос ответит тебе твое сердце, просто, по-человечески. Я вижу прощание. Мы стоим на разных берегах. Эта прощание увеличивается день ото дня. Откуда-то из неизвестного надвигается катастрофа...

Я вся—сплошное беспокойство и это делает жизнь невыносимой! Правда, Николай очень добр со мной, но Николай—это еще не все.

Мой милый, милый и бесконечно любимый!

Я не в силах разобраться что в этом письме—вздор и что—настоящее. Прости и забудь весь этот бред

лючений.

потерявшей голову женщины, запомни только одно:

Я жду тебя.

Приходи, не откладывая. Мне нужен хотя бы мимолетный отдых от моих страданий. Приди, пожалей меня.

Инна.

Р. С. Николай целыми днями работает над картиной. Кажется, она приближается к концу».

5.

Вечером при керосиновой лампе сидели на терраске, пили чай.

Инна была наружно спокойна, однако излишняя бледность и напряженная неподвижность черт выдавали внутреннюю борьбу и скрытое волнение.

Николай много и оживленно говорил. Изредка он спрашивал, понимают ли они его и правильно ли он выражается, так как он совершенно не слышит звука своего голоса и говорит по памяти, машинально. Он был как-то неестественно взбудоражен, часто хватал руку жены, лежавшую на столе, долго гладил ее и, спохватившись, начинал ерошить свою редкую шевелюру.

Казаров—спокойный, обаятельный, со снисходительной, отеческой улыбкой одинаково ласково-влюбленными глазами смотрел и на Николая, и на Инну Павловну. Он, повидимому, чувствовал себя хорошо и уютно. Это передалось и Инне, она начала изредка доверчиво, по-детски улыбаться.

— Сегодняшний день заслуживает быть вписанным в анналы русского искусства, — изобретая комические интонации, говорил Николай Сергеевич. Случайным ветром меня занесло в Ленинграде на выставку «Деятельности»... Все незнакомые, молодые имена. Конечно, суть дела не в этом... Впрочем я не так начал... Эту исто-



Инна
Казарова—Казарова.

рию нужно обставить торжественнее, начать ее с какой-нибудь замысловатой аллегории...

Оттого, что Крамову трудно было соразмерять звук своего голоса, от его речи получалось странное впечатление, местами — трагическое. Он говорил то слишком тихо, то слишком громко.

Желание придать словам нужный оттенок заставляло Николая Сергеевича делать подчеркивания, часто не впопад, вопреки логике. И Инна, и Казаров давно к

этому привыкли, но все же по временам невольные диссонансы Крамова заставляли их мрщиться.

— Эврика!—Как ора! какой-то полумудрый грек. Нашел аллегию! И так, внимание! Жил был художник. Этот художник в момент мучительной схватки, которые называются у художников вдохновением, родил гениальную идею (не смущайтесь, ибо художники часто рожают). Наш Веласкед, как полагается, был юн и исключительно одарен. Впереди—целая долгая жизнь высочайших восторгов. Куда особенно торопиться? Время идет. Новорожденная идея растет, цветет, наливается и радуется сердцу родителя. Вот она вполне созрела, достигла, так сказать, брачного возраста и, разумеется, начинает требовать, чтобы родитель приспособил ее к месту. Одним словом, требует воплощения,—или замужества, что одно и то же. Родитель берет полотно побольше,—этакую простыню,—и начинает воплощать. Идут года, художник старится, идея нервничает, но, тем не менее, понемногу воплощается. На большом полотне внимательный наблюдатель уже может невооруженным глазом различить контуры великого шедевра, который, будучи окончательно выявлен, должен принести человечеству откровение, прозрение, но... и еще что нибудь посуществен-

нее, например — по литру на брата божественного нектара. Вот шедевр почти закончен. Художник ходит козырем, однако еще никому не говорит о своем откровении, а только многозначительно подмигивает. Мигнет туда, мигнет сюда... Ну, мигал, мигал и, как водится, домигался. Идет это он, мигаючи, по улице, видит — вывеска: «Выставка восемнадцати с половиной». А дай-ка, думает, зайду, подмигну и этим восемнадцати с половиной, — пусть знают наших!

Входит и что же видишь? Его идея, которую он произвел на свет в жесточайших родовых схватках, ну, — прямо живехонькая! — глядит на него с чьего-то чужого полотна. Глядит и тоже ехидно подмигивает... Ха-ха! Не правда-ли смешно? Или не смешно? Это, вероятно, оттого, что я, как говаривал один немецкий профессор на русской кафедре: „через чурку продолговато“ рассказывал... Я понимаю: мой юмор — юмор вишельника, но что же делать? Такова жизнь...

Крамов, барабана по столу пальцами, переводил теперь уже жалкий, лихорадочный взгляд с жены на друга и обратно. Инна слушала рассеянно, но при последних словах мужа подняла голову и вся насторожилась.

Казаров затаил дыхание, слегка бледнел от нахлынувшего вдруг волнения.

— Ты хочешь сказать... — начал он.

— *Finita la comedia*, как говорят у нас в Парголово. На выставке «Девятнадцати» я видел картину, тютелька в тютельку воплощающую мою идею. Я возился с ней годы, а неизвестный мне художник, как передавали, написал свое произведение в два месяца и написал невпример талантливее моей мазни...

Все молчали. Инна Павловна сидела, закрыв лицо руками. Казарову хотелось сказать своему другу что-нибудь утешительное, хорошее и что-нибудь дружественное, но неожиданно он почувствовал, что всякое утешение будет ложью, оскорбительной для художника, и сдержался.

— Мне плакать хочется, — сказала Инна Павловна, не отнимая рук от лица. — Выведи меня, Владимир, на воздух...

Казаров встал из-за стола, подошел к Николаю Сергеевичу, взял его за плечи. Крамов поднял взгляд на друга. Глаза Казарова застлали непрошенные слезы. Он взял Крамова за виски и поцеловал его в лоб долгим поцелуем.

— Спасибо, дружище, — просто сказал Крамов.

— Мы пройдемся. Инне Павловне хочется на воздух, — сказал Казаров, тщательно артикулируя губами и стараясь проглотить досадный комочек, подкатившийся к горлу.

— Хорошо. Идите.

Казаров и Инна Павловна вышли. Через минуту женщина вернулась и дотронулась рукой до плеча мужа. Тот поднял на нее глаза.

— Скажи Поле, чтобы убрала посуду и шла домой. Она нам больше не нужна.

— Хорошо.

Поля была приходящей прислугой из деревни.

6.

На дворе было сыро и слегка прохладно. Над болотистой реченкой седыми космами шевелился туман. Всюду расстилалась бесцветная муть. Эту разлитую вокруг матово-жемчужную полумглу было как-то странно назвать ночью. В брезентово-сером небе плавали какие-то расплывчатые, размытые просветы. По всей вероятности, это были звезды. Истерически выкрикивала какал-то бессонная птичка. На станции изредка гукал паровоз, бестолково позвякивали буфера.

Инна Павловна опиралась на руку Казарова.

— Куда? — спросил он.

Она неопределенно махнула рукой перед собой. Они неторопливо, молча, прошли по деревне, свернули на росистую тропинку, ведущую в горку, обогнули небольшой словый лесок и с противоположной стороны вернулись к дачке. В двух местах пришлось перешагнуть через низкие, влажные изгороди.

— Препятствия на жизненном пути, — пошутил Казаров.

— Ах, если бы их также легко было перескочить!

В мезонине у Николая Сергеевича светился огонь. Привернутая лампа горела и на террасе, дожидаясь их возвращения.

Подходя к дачке, Инна замедлила шаги. Она как будто чего-то ждала. Несколько раз она вскидывала на Казарова свои большие, оттененные синевой глаза. Тот казался невозмутимо спокойным, как всегда. Инна остановилась у терраски и углубилась в рассматривание промоченных ботинок.

Казаров стал прощаться, чтобы идти на станцию.

— Успеешь, — сказала Инна Павловна, — еще два поезда. Зайдем, мне нужно с тобой поговорить.

— Хорошо. Только говорить будешь ты, а я буду слушать. У меня такое кошмарное настроение после рассказа Николая...

Они вошли в дачку.

7.

Инна поставила лампу на столик. Казаров, с папироской в руке, опустился возле на диван и стал перелистывать какую-то книжку. Инна не села. Она закинула руки за шею и лунатической походкой начала ходить из одной комнаты в другую, через открытую дверь. Над головой, в мезонине, поскрипывали плохо прилаженные половицы. Там, как всегда, мирно и обыденно бродил глухой художник.

Инна остановилась перед Казаровым. Он поднял глаза:

— Ты что?

Женщина молчала, пристально всматриваясь в его лицо. Он бросил книжку на стол и нахмурился.

— Будь проще Инна. Ты знаешь, как претит мне всякая театральщина.

Инна горько усмехнулась, покачала головой:

— Нет, я тебя совсем не знаю, Владимир. Я думала—знаю, а оказывается—не знаю совершенно. Ты мне непонятен и чужд, как первый встречный незнакомый человек.

— Чего ты хочешь от меня Инна? Что за фокусы?—слегка раздраженно сказал Казаров.

Инна неожиданно тихо заплакала и опустила рядом, пряча лицо у него на плече:

— Пожалей меня... Разве ты не видишь, как я страдаю...

— Это оттого, что ты распускаешься. Надо уметь управлять своей волей.

— Не то, не то, не то! — почти закричала Инна.

— Так что же?

— Я из-не-мо-га-ю!... Мне нужно сочувствие человека, который понимал бы меня... Понимал, почувствуй это... И ничего более.

— А разве я тебя не понимаю?

Инна покачала головой.

— С каких это пор?—спросил Казаров.

— С тех самых пор... с тех самых

пор, как тебе представился случай отделаться от меня...

Казаров не на шутку рассердился.

— Послушай, женщина! Ты говоришь пошлости!

— Ха!...

— Ты больна, Инна. Тебе необходимо лечиться. Ты впадаешь в истерию и отравляешь жизнь всем, кто с тобой соприкасается.

— Прежде всего—тебе, разумеется.

— И мне в том числе.

— Спасибо. Ты откровенен.

— Ты становишься вздорной мещанкой. Ты—не ты! Я тебя знал не такой. Ты растеряла сокровища своего духа, богатого и редкого духа...



Николай Крамер.

— Прикажете сделать реверанс?

— ... ты становишься какой-то мелкой стяжательницей, ничего не хочешь знать, кроме своих личных удобств, своего себялюбивого спокойствия. Ты хочешь какого-то вечного праздника, а жизнь—далеко не праздник. Только заурядной женщине нет никак го дела до других людей, до высшей справедливости. Но я-то ведь знаю тебя за другую, и мне больно видеть тебя такой!

— Какой великолепный монолог! И как артистически построен! В переводе на будничныи язык это должно звучать так: «Ты—дрянь, безнравственная женщина, эгоистка; если не преступница, то подстрекательница к преступлению, тебе нравится совращать с пути добродетели чистых и неподкупных людей»...

Казаров грубо отстранил Инну и направился к дверям:

— Я вижу, мне лучше всего уйти.

Инна быстро вскочила и загордела дверь:

— Ты не уйдешь! Ты не оставишь меня в таком состоянии!

— В последнее время ты постоянно в таком состоянии.

— Тем стыднее должно быть тебе, Владимир.

Казаров с жестом усталого, измученного человека отошел к окну. Инна, опершись о косяк двери, тяжело дышала. Когда волнение несколько улеглось, она заговорила:

— Владимир, я твердо решила договориться сегодня до чего-нибудь определенного. Сейчас должна решиться моя судьба. Или я верну себе украденное у меня счастье, верну твое сердце...

— Мое сердце не переставало принадлежать тебе.

— Или верну себе твое сердце, или... Ты знаешь меня... Решимости у меня хватит... И тогда, если ты честен, ты должен будешь узнать, что такое позднее раскаяние, сожаления и угрызения совести...

— Это что же, — угрозы?—вернулся к ней Казаров.

— О! Решимости у меня хватит!..

— Не будь сумасбродной. У тебя есть муж, который...

— Мой муж—ты, а не тот маньяк, что бродит там наверху, вокруг своей негодной мазни!

— Инна!

— Чго—Инна? Я защищаю свою жизнь! Мне не до изысканных оборотов речи! Ты, ты, Владимир, виновник этого страшного, противозаконного преступления... Ты вынудил меня жить с мертвецом, воскресим из гроба... О, я догадываюсь, у тебя были на это серьезные основания!.. Если мои подозрения справедливы,—а это мы сейчас узнаем,—ты... ты... попросту—низкий подлец!..

Казаров медленно повернулся, спокойно сделал несколько шагов к Инне и, с сожалением покачивая головой, сказал тихо и задушевно:

— Инна!.. Инна!.. Кто тебя подменил?..

— Кто?..—Глаза Инны сверкали, волосы растрепались. Она резко вскинула правую руку и указала в потолок.—Живой мертвец!

— Но это—мой друг! Друг и товарищ моего детства!

— А я—твоя жена. Часть тебя самого. А на всю эту этику и порядочность, на твое смешное донкихотство мне плевать!..

— Ну, это уже цинизм!

— А не цинизм то, что ты доводишь меня до сумасшествия?

— Ты требуешь от меня преступления!..

— Ты сам готовишь его.

— Я никогда не был изменником!..

— Это тебе только кажется.

— Пусти меня, я хочу уйти!..

— Не пушту!.. Мы ни до чего не договорились!..

— Пока Николай жив, в наших отношениях ничего не может измениться. Следовательно, не о чем и говорить!.. Пусти меня!..

— Ты хочешь уйти?

— Да.

— Хорошо!.. Ты помнишь, что в доме есть оружие!..

Казаров почувствовал, как будто кто-то хлестнул его по сердцу бичем. Ему захотелось схватить эту несчастную женщину в объятия, нянчить ее, как ребенка, плакать над ней и утешать ее простыми-простыми ма

ласковыми-ласковыми словами. Но какой-то демон упрямства, ложный стыд припертого в угол мужчины, помешали ему это сделать. Стараясь казаться твердым, он жестко ответил:

— Отлично помню.

Инна, придерживаясь за косяк руками, переместилась от двери к стене и тихо сказала:

— Уходи.

Не глядя на нее, Казаров вышел из комнаты. Когда он был уже за калиткой, сзади открылось окно.

— Прощай, Владимир...

Казаров не оглянувшись. Крупными

шагами, не разбирая дороги, он шел к реченке.

Окно сзади захлопнулось.

Когда Казаров был уже по ту сторону болотистого препятствия, он спохватился, что оставил у Крамовых шляпу. И тут же вдруг впервые смутно он почувствовал жестокость своего поведения. Ему захотелось вернуться, упасть к ногам любимой женщины, молить о прощении, утешать ее, ласкать и плакать. Он замедлил шаги...

Издали, будоража тишину ночи веселым плясом колес, приближался поезд.

УСЛОВИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА

1) Читателям предлагается прислать на русском языке недостающую, последнюю заключительную главу к рассказу. Лучшее из присланных окончаний будет напечатано с подписью приславшего и награждено премией в 100 рублей.

2) В Систематическом Литературном Конкурсе могут участвовать все граждане Союза Советских Социалистических Республик, состоящие подписчиками «Мира Приключений».

3) Никаких личных ограничений для конкурирующих авторов не ставится, и возможны случаи, когда один и тот же автор получит в течение года несколько премий.

4) Рукописи должны быть напечатаны на машинке или написаны чернилами (не карандашом!), четко, разборчиво, набело, подписаны именем, отчеством и фамилией автора, и снабжены его точным адресом.

5) На первой странице рукописи должен быть приклеен печатный адрес подписчика с бандероли, под которой доставляется почтой журнал «Мир Приключений».

Примечание. Авторами, состязавшимися на премию, могут быть и все участники коллективной подписки на журнал, но тогда на ярлыке почтовой бандероли должно значиться не личное имя, а название учреждения или организации, выписывающей «Мир Приключений».

6) Последний срок доставки рукописей — 1 февраля 1928 г. Поступившие после этого числа не будут участвовать в Конкурсе.

7) Во избежание недоразумений рекомендуется посылать рукописи заказным порядком и адресовать: Ленинград, Стремянная, 8. В Редакцию журнала «Мир Приключений», на Литературный Конкурс.

8) Не получившие премии рукописи будут сожжены и имена их авторов сохранятся втайне. В журнале будет опубликовано только общее число поступивших рукописей — решений литературной задачи.

9) Никаких индивидуальных оценок не премированных на Конкурсе рукописей Редакция не дает.

Следующий рассказ на премию в 100 рублей будет напечатан в январской книжке «Мира Приключений».



Новела ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО

С итальянского перевод Е. ФОРТУЧАТО

Иллюстрации Н. КОЧЕРГИНА

I.

Козимино, пономарь Санта Мария Нуова, рассылал своих трех малышей по трем городским базарам в качестве сторожевых патрулей и наказывал им стремглав бежать и звать его, если они хотя издали завидят хромоногую Сгришию, старую служанку священного дона Равана.

И в это утро с рыбного базара запыхавшись примчался третий его сын:

— Папа, там Сгришия, Сгришия, Сгришия!

И Козимино полетел.

Он застал старуху в переговорах с рыбаком; она торговала раки.

— Вон отсюда, сию же минуту! Дьявол искуситель!

И, обернувшись к рыбаку:

— Не слушайте... Она этакого товара не купит... Не смеет покупать...

Тут Сгришия подбоченилась, с вызовом выставила локти вперед, но Козимино и пикнуть ей не дал; наскочил на нее с поднятыми руками и стал энергично ее отталкивать:

— Убирайся ко всем чертям, слышала? Исчадь адаво!

Тогда рыбак вступился за свою клиентку, она визжала благим матом; со всех концов базара сбежалась толпа разнимать драчунов, которые уже пустились в ход кулаки. Рассвирепевший Козимино орает:

— Нет, нет... Раков ни за что... Не допущу, чтобы отец Равана кушал

раки; ему нельзя, он не должен. Ступай и скажи ему это от меня. Мерзавка, искушает его, как дьявол, из кожи вон лезет, чтобы ему желудок испортить.

На счастье в эту минуту на базаре появился сам дон Равана тут как тут.

— Вот и он... Пожалуйста, пожалуйста!—надрывался Козимино, призывая аббата.—Скажите, пожалуйста, это вы приказывали вашей служанке купить раков?

Личико дона Равана содрогнулось и побледнело; он нервно улыбнулся и пробормотал:

— Нет, это право не я...

— Как нет?—разразилась огорошенная неожиданностью Сгришия и хлопнула себя по костлявой груди.—И вы намерены теперь отрицать? Мне в лицо?

Дон Равана дыкнул на нее вне себя от злости:

— Да, полно вам, сплетница. Раки?... Когда я говорил купить мне раков? Я вам сказал: «купите рыбы».

— Нет, вы сказали раков... раков... сказали: «купите раков!»

— Что раки, что рыба, — все едино,—крикнул пономарь, вмешавшись в спор аббага с его служанкой, между тем как все кругом хохотали.—Разварное мясо, бульон и молоко; молоко, бульон и разварное мясо, больше ничего. Так прописано врачом. Появляй? Не заставляйте меня выкладывать всю подноготную.

— Успокойся, Козимино, успокойся. Да, ты прав, ты прав, сын мой,—заторопился дон Равана, сильно сму-

щенный, и, обернувшись к служанке, приказал: — Ступайте домой. Разварное мясо, как всегда!

Присутствующие встретили это приказание новым, еще более громким, взрывом смеха, а дон Раванà стал протискиваться в толпе, криво улыбаясь. Он пробирался, как червь в огне, приговаривая то направо, то налево:

— Он славный малый, этот Козимино... Надо снисходительно относиться к такому добряку... Ведь он для моего блага старается... Да, да... Расступитесь немножко, дети мои, дайте мне пройти... Добра-то здесь, добра, боже мой, чего только нет! А я... я—разварное мясо, бульон и молоко. Ничего не поделаешь. Таково предписание врача... Да. Мне ничего другого нельзя... Козимино был прав.

II.

— Пст... ну-ка, посмотри!...—шептал дон Раванà своему пономарю, стоя с опущенными глазами перед святым престолом, пока Козимино мешал воду с вином в чаше.—Там, в церкви, как будто, доктор Никастро. Вон там впереди, около балюстрады... Стой спокойно. Не вертись, осел,—направо... Как только сможешь, кивни ему, чтобы он после обедни не уходил и взглянул ко мне в ризницу.

Козимино нахмурился, побледнел, стиснул зубы, чтобы сдержать взрыв гнева.

— Видно вы вчера вечером... Ну-ка, признавайтесь?..

— Да будешь ли ты стоять спокойно... Мужлан... И это он перед святыми дарами!—упрекнул его дон Раванà и не слишком тихо. При этом он обернулся и строго взглянул на него.

На первой скамье расслышали это замечание священника пономарю, и по церкви пробежал негодующий шопот, порицание бедняге Козимино, который даже потемнел и весь дрожал от злобы и стыда.

Обедня кончилась. Козимино, нахмуренный и надутый проследовал за доном Раванà в ризницу. Немного погодя вошел туда же доктор Лигорио Никастро, маленький и очень старенький человечек, весь скрюченный годами. Поля цилиндра почти касались

его горба; он был одет по-старомодному, носил круглую, ошейником обрамляющую его лицо, бородку.

— Ну, что с вами приключилось, отец Раванà? — гнусаво начал он и, как обычно, прищурил свои маленькие с оплешивевшими ресницами глазки.— Выглядите вы нехорошо...

— Да, неужели?

Дон Раванà подозрительно и озабоченно посматривал на него, не зная, верить или нет; потом ответил с раздражением, как человек, жалующийся на чью-то несправедливость:

— Все желудок, доктор Лигорио... Желудок, желудок... Никак не налаживается с желудком, понимаете?

— Еще бы!—фыркнул Козимино и отвернулся.

Дон Раванà стрельнул в него молниеносным взглядом.

— Присядьте, присядьте, отец Раванà,—продолжал доктор Лигорио,—посмотрим язык.

Козимино с потупленным взором подал дону Раванà стул. Доктор Никастро флегматично вынул очки из футляра, укрепил их на своем носу и посмотрел язык больного.

— Нечистый!..

— Нечистый!..—повторил дон Раванà, быстро-быстро запрягивая язык и точно обиженный голосом врача.

Козимино опять фыркнул, теперь уже носом, и опять вздохнул. Желчь так и кипела у него внутри. Он сжимал кулаки и прикусывал губы. Но в конце концов всетаки разразился:

— Значит, что же?... Опять эту лошадиную... или как вы ее там называете?

— Да, рвотное, милый мой—хладнокровно подтвердил доктор Никастро, подал рецепт дону Раванà и спрятал в карман очки и записную книжку. *Si applicata juvant, continuata sanant* *).

Раз фраза латинская... Он ею заткнул рот бедному пономарю.

— Значит опять, как всегда?—спросил Козимино бледный, бледный и нахмуренный, едва вышел врач.

*) Смысл этой фразы, произнесенной на «варварской» латыни: если лекарство помогает, то повторение его излечивает.

Дон Раванà развел руками и, не глядя на него, сказал:

— Ведь, ты же слышал?

— Ну, тогда я пойду предупредить жену,— продолжал Козимино похоронным тоном...—Давайте деньги на лекарство. И ступайте домой. Сейчас приду.

III.

— Ох...—и на каждой ступеньке:— ох... ох...

Сгришия услышала эти стоны на лестнице и бросилась открывать дону Раванà дверь.

— Вам нехорошо?

— Очень худо. Ужасно худо. Уходи! Уходи на кухню и закройся там. Сейчас придет Козимино. Сиди в кухне и не показывайся, пока тебя не позовут.

Сгришия, едва-едва пошевеливаясь, удалилась. Дон Раванà вошел в спальню. Там он скинул рясу и остался в распущенных штанах и в очень длинном и очень широком набрюшнике. Он стал ходить взад и вперед в горестном размышлении.

Совесть его грызла. Да, какие же тут сомнения! Бог по милосердию своему снисходил до милости послать ему испытание в лице этого хромого дьявола, переодетого женщиной, и он, он, неблагодарный, не умел использовать такого испытания.

— Ах!—воскликнул он в полном отчаянии, потрясая кулаками.

Жалкая мебель терялась в этой большой комнате. На ее обширном полу лежали старые циновки из Валенсии, там и сям прорванные и вытертые. Посреди правой стены стояла мизерная кровать, очень чистая, железная, без чехлов; в изголовьи—старинное распятие из слоновьей кости, пожелтевшее от времени (в этот день взор дон Раванà не осмеливался подняться до этого распятия и взглянуть на него). В углу около кровати виднелся старый карабин и на стене висело несколько больших ключей: ключи от его деревенского дома.

Дин, дин, дин.

— Вот и Козимино! Бедняжка... Как он точен и аккуратен:

И сам пошел ему открыть.

— Прошу вас, Христа ради, чтобы мне не попадалась на глаза эта бесстыжая мерзавка,—заторопился Козимино, еще не входя.—Ведь, по ее вине... Ну, да что говорить. Баста! Вот вам лекарство. Пойду возьму себе ложку.

— Да, да... сходи, сходи...—дон Раванà приговаривал это робко и участливо.—Спасибо тебе, сын мой. Ты мне жизнь возвращаешь. Входи, входи прямо в спальню!

Козимино почти тотчас же вернулся с ложкой в руках, бледный и дрожащий.

— А, ведь, я ее наказал, знаешь? Ревет теперь там, в кухне. Ты правильно сказал, сын мой: все по ее вине! Вот ты слышал, что я ей вчера приказывал на базаре... И что же? Пока я, обливаясь потом, заставлял себя глотать через силу ту еду — помои!—которые разрешил мне доктор, вдруг она является и, как бы ты думал, с чем? Вошла в столовую с такими хитрыми ужимками и прикрывает рукой блюдо с... Ну, чтобы ты сделал на моем месте?

— Я бы эти раки съел,—глухо и серьезно ответил Козимино,—но сам бы и рассчитался за свой грех, а не стал бы заставлять другого, ни в чем неповинного, рассчитывать за это и выплевывать все свое нутро.

Дон Раванà, глубоко уязвленный, прикрыл глаза и испустил длительный вздох.

Правильно говорит Козимино, да; и с его стороны, бесспорно, большое варварство каждый раз заставлять пономаря принимать рвотное, которое прописано доктором Никастро самому дону Раванà. Но, ведь, дону Раванà достаточно присутствовать при действии этого лекарства на организм его жертвы, чтобы вызвать в себе такое же действие, силою примера. Это, положим, варварство... Но может ли знать Козимино, сколько раз воспоминание о нем уже удерживало дон Раванà от искушений? Это стало для него уздой; необходимо и переживание тех угрызений совести, которые вздымались в нем при виде неза-

служенных Козимино страданий. Ведь именно картина этих страданий помогала иногда дону Равану восторжествовать над своей недостойной плотью. Он постоянно осыпал пономаря милостями. И что же он требует взамен от этого пономаря? Только эту, одну единственную жертву, ради его здоровья, не столько ради тела, сколько для духа. И все же каждый раз, при виде той пытки, которой его жертва подвергается так безропотно, дон Раван чувствовал себя вконец измученным. Угрызения совести, гнев, сознание своей подлости, — все это распирало мозг. Он готов был выброситься из окна.

— Что еще выдумали? Плачете теперь?.. — сказал ему Козимино. — Полно, полно, крокодиловы ваши слезы!

— Нет, — простонал дон Раван с искренним горем.

— Ну, ладно, ладно... Ложитесь-ка лучше на кровать, да глядите хорошенько... принимаю первую ложку.

Дон Раван бросился на кровать со слезами на глазах и искаженным от страдания лицом. Козимино поставил кофейник на спиртовку, чтобы иметь под рукой теплую воду, потом, закрыв глаза, проглотил первую ложку лекарства.

— Ну, вот... нет, — не нуждаюсь в вашей жало-

сти; лежите тихо... или я такой дым коромыслом тут подниму...

— Да, да, тихо, тихо..... Несчастненький ты мой!... Ты прав... тихо... Поговорим о чем-нибудь другом... Завтра, если погода позволит и я буду лучше себя чувствовать, мы отправимся в деревню... Да, да, и ты поезжай и захвати с собой деток и жену, пусть все подышат свежим воздухом, без всяких хлопот... Незадачливый год, Козимино, что и говорить... Господне наказание за наши грехи. Утомилось святое терпение. Глядишь — весь мир как будто полон страдания, а все друг дружку убивают... Ты слышал? И в Африке война, и в Китае война... Вот зато и гнев господень. Каков град-то был, а? Видел?.. И огороды побило, и виноградники... туманы угрожают оливкам... Что?... Еще не чувствуешь? Нет?...

— Нет, покамест еще ничего... Глотну теплой водички.

— Да, да, это хорошо... А мы тем временем еще побеседуем... Хлеба уродились обильные, это грех сказать, и с божьей помощью, если пресвятая богородица смилостивится над нами, мы хлебами хоть отчасти покроем недохваты этого года...

Козимино слушал с большим вниманием, но как будто ни слова не понимал; на лице его чередовались все цвета радуги; потом он вдруг побледнел и все продолжал бледнеть, холодный пот выступил у него на лбу, и он заерзал на стуле с блуждающим взглядом.

— Мамма... Мамммма.... Никак начинается, отец Раван... Да, да, подступило!

— Сгришия, Сгришия! — кричал тогда дон Раван, тоже побледнев. Он пристально фиксировал Козимино, чтобы его видом вызвать и в себе самом действие лекарства. — Сгришия, поскорее! Как будто... да... того... подступило!

И Сгришия примчалась подержать голову своему хозяину, а Козимино в это время, извиваясь в судорогах и страданиях, от всей души осыпал ее пинками в известное место.

— Да, рвотное, милый мой, — хладно-кровно подтвердил доктор Никастро.



IV.

— Ну, теперь большую чашку бульона для Козимино, — приказывал уже под вечер дон Раванá своей служанке. И греночки к бульону. Ты хочешь, Козимино, да?

— Как вам будет угодно... только меня оставьте...—Бедняга, весь белый, сидел с закинутой головой, прислонившись к стене, и у него, казалось, даже не было силы вздохнуть.

— Да, с греночками, с греночками. И яичко выпустить в бульон,—приговаривал дон Раванá очень любезно.— Как скажешь, мой милый Козимино, ведь, ты хочешь яичко, этакое свеженькое яичко в бульон?...

— Ничего я не хочу. Оставьте меня в покое!—простонал пономарь, доведенный до отчаяния.— Хорошо вам разговоры разговаривать, когда у меня из-за вас яд в животе. Вы сначала мне изгадите живот, а потом с греночками, да с яичком. Ну разве



подобает так поступать духовному лицу, слугителю бога, что?... Отпустите вы меня!... Так и веру потеряешь, ей богу!... Ай, ай, ай... ох, ох... ай, ай, ай... И ушел, схватившись за живот, и все продолжая стонать.

—Греховодник, вот греховодник!—рассердился дон Раванá.— Сначала распинается перед нами, сама покорность, а потом, как примет—злее осы становится. И сказать, что я этако-

му неблагодарному созданию сделал столько добра!

И дон Раванá некоторое время покачивал головой, поджимая уголки рта, потом позвал:

— Сгришия! Поддай-ка мне этот бульон, а? А яичко туда выпустила? Ну вот, bravo! потом мне шляпу и плащ...

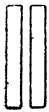
— Уезжаете?

— Ну да, точно ты не знаешь? Ведь я теперь молодцом, слава тебе господи!

НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!

Задача № 67.

Два приятеля, гуляя, дошли до поля, окопанного широким рвом с водой. Перескочить через ров невозможно,—мокнуть в холодной воде—не хочется, и оба приятеля решали было уже отказаться от своего намерения



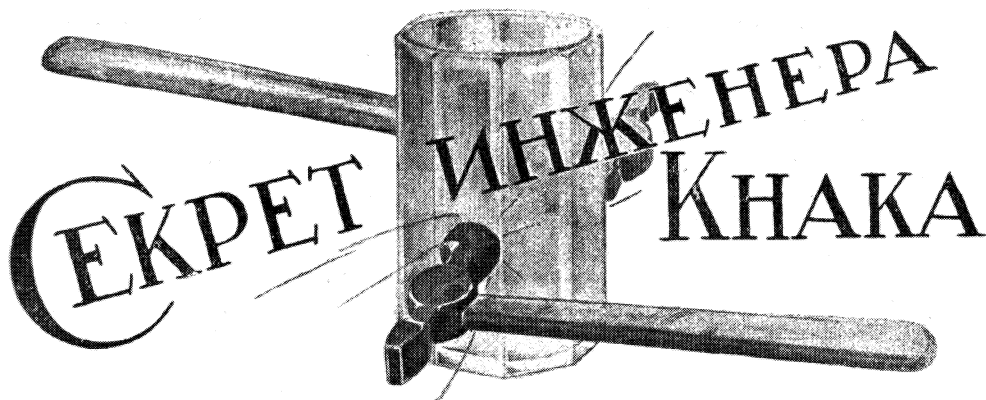
пробраться внутрь окопанного участка, как неожиданно натолкнулись около одного из углов рва на две прочных доски.

— Вот и мост для нас воскликнул один, но радость его была преждевременна т. к. длина обеих досок была равна как раз ширине рва... Другой подумал немного, и че-

рез минуту импровизированный мост все-таки был готов. Как он это сделал?

Задача № 68.

Из двух городов, находящихся на расстоянии 30 километров, одновременно выходят два пешехода, делающие по 5 километров в час. В то же самое время вместе с одним пешеходом выезжает велосипедист, делающий по 10 километров в час. Велосипедисту этому приходит в голову странная фантазия: ехать вперед, пока он не повстречает другого идущего ему навстречу пешехода и тотчас же повернуть обратно, мчаться (все с той же скоростью!) к первому пешеходу, встретиться с ним, снова повернуть,—вторично встретиться со вторым—повернуть, опять встретиться с первым и т. д.—ездить до тех пор, пока оба пешехода не встретятся. Сколько же всего километров сделает этот неугомонный велосипедист? Знание алгебры не требуется.



Рассказ В. РЮМИНА

Иллюстрации Н. УШИНА

I.

Два слова от автора.

Профессор металлургии Ледебур в своем классическом сочинении о сплавах указывает, что народам древности был известен секрет закалки бронзы, секрет, впоследствии утраченный и до сего времени не найденный. Но нам, чтобы показать, как однажды сделанное открытие может быть вновь утеряно, нет даже надобности брать примеры из времен давно минувших. Лучшим доказательством такой возможности должен послужить рассказ об изобретенном в 1879 г. инженером Кнаком небьющемся стекле.

Вы, весьма вероятно, ничего о нем не слышали, а между тем секрет такого стекла был однажды найден и, увы, вскоре опять утрачен.

Безвозвратна ли эта потеря, покажет будущее, но за истекшие с того времени полвека никто из пытавшихся повторить открытие Кнака успеха не имел, и наша стеклянная посуда и оконные стекла бьются и сейчас, как бились и за тысячи лет до нас, когда финикийцы и египтяне впервые начали их выделывать.

Одно время небьющаяся посуда, впрочем, появилась в продаже. Старрики должны помнить, что у нас торговали ею на Московской Выставке в 1882 году.

Это Розендвейг пытался продолжать опыты Кнака, надеясь найти утраченный секрет. Он его не нашел. «Небьющаяся посуда», правда, остава-

лась целой, падая с небольшой высоты на деревянный или асфальтовый пол, но при сильном ударе, даже при случайной царапине острым предметом,—буквально взрывалась, разлетаясь в мельчайшие осколки. По этой причине она оказалась опасной и вскоре выделка и продажа ее были повсюду запрещены.

Вопрос изобретения небьющегося стекла и поныне может считаться открытым.

II.

В лаборатории Тюрингенского стекольного завода.

Дзынь!... раздался звук разбитого стакана, с силою брошенного о цементный пол лаборатории.

— Ну,—проворчал лаборант Розендвейг, вздрогнув от неожиданности,—опять начинается! И как ему не надоест? Весь завод, от директора до последнего конторского мальчишки смеется над его манией, а ему хоть бы что.

Дзынь!.. зазвенел другой разбитый стакан.

— Опять неудача, герр Кнак?

— Как видите,—ответал спрошенный, указывая на осколки стекла, валявшиеся на полу.

Он стоял в дверях и держал в выскоподнятой правой руке третий стакан, видимо осужденный на участь двух предыдущих.

— Жаль хорошей посуды. Сколько вы их перебили на своем веку, герр Кнак?

— Это был две тысячи шестьсот сорок восьмой,—хладнокровно отвечал старший химик.—Отверните лицо в сторону, чтобы случайно вас не поранило осколком.

Третий стакан ударился об пол, но...—(лаборант, забыв отвернуться, раскрыл рот от удивления) отпрыгнул от пола, как мяч, и как мяч же, несколько раз подскочил на месте.

— Таки добились!—изумился свидетель необычайного зрелища.

— Да, две тысячи шестьсот сорок девятый вышел удачным.

Розенцвейг бросился к остановившемуся стакану, поднял его и стал тщательно осматривать со всех сторон.

— Ни трещинки, ни царапинки!..

— Так и должно быть,—самодовольно усмехнулся его старший товарищ и ближайший начальник по службе.

— Позвольте, герр Кнак, повторить опыты?

— Даже прошу. И бросайте, что только есть силы.

Лаборант размахнулся и изо всех сил треснул стакан об пол. Стакан подпрыгнул чуть не до потолка и продолжал подсакивать, словно он был резиновый, а не стеклянный.

— Чудеса,—прошептал в восхищении молодой человек.—Вижу, герр Кнак, что над этой штукой стоило поработать двенадцать лет. Небьющееся стекло! Да ведь это замечательно! Это изобретенье произведет революцию во всем стекольном деле.

III.

Кто был Куно Кнак.

Куно Кнак, инженер-химик, изобретатель небьющегося стекла, не походил на изобретателей фантазеров,—небритых, лохматых, в затасканных костюмах, тех, кто проектируют вечные двигатели и туннели, соединяющие северный и южный полюс через центр земли. Нет; он был совсем не так! Бедняк в детстве и юности, тяжелым трудом дошедший до диплома инженера, он еще на школьной скамье поставил себе целью изобретенье небьющегося стекла. В политехникуме Кнак избрал специальностью стекольное производство и на

все учебные предметы, не относившиеся непосредственно к стекловарению, смотрел как на досадную обузу, только отнимавшую даром время.

Почему именно это, а не что-нибудь другое, привлекло его внимание? Возможно, что тут сыграли роль воспоминания детства, когда случайно разбитый стакан или выбитое мячом оконное стекло являлись прологом к семейной драме, жестокой порке виновника, слезам матери и бурному негодованию отца на непредвиденный расход, отягощающий его более чем скромный бюджет рабочего. Отец Куно Кнака был слесарь, человек беспокойный, первый терявший место, когда надвигалась полоса безработицы.

Как бы там ни было, но Кнак твердо решил сделать стеклянную посуду и оконное стекло небьющимися. По окончании Шарлотенбургского Политехникума, он поступил лаборантом на знаменитый, первый в Германии по размерам и совершенству оборудования, Тюрингенский стекольный завод в Эйзенахе и быстро выдвинулся на должность старшего химика, сделав ряд открытий и усовершенствований в хорошо изученном им деле.

Одно из них—зеркальное стекло, придающее лучший цвет лица смотрящему в зеркало, дало изобретателю довольно кругленькую сумму, так как было куплено в собственность правлением завода.

Наконец, за год до того времени, с которого начинается наш рассказ, само правление Тюрингенского завода удостоило его выбором в главные технические директора и было не мало удивлено, что Кнак отклонил эту честь. В ответ на сделанное ему лестное предпочтение перед другими кандидатами, он писал: «Я просил бы отложить мое повышение до тех пор, пока я не закончу своей работы, пока не найду способа сделать стекло неразбиваемым. Вести эту работу мне всего удобнее, занимая теперешнюю мою должность, став же директором, я не смогу отдавать ей так много времени, как отдаю сейчас».

Двенадцать лет производил настойчивый изобретатель свои опыты, он

перепробовал тысячи рецептов для варки стекла и столько же разнообразных средств для закалки готовых изделий.

И настал момент, когда его упорный систематический труд, для которого он отказался от семьи, общества, развлечений — труд, которому он посвящал все свободное от службы и сна время, изо дня в день, из года в год, не зная ни праздников, ни отпусков — увенчался успехом.

IV.

В погребке «Голубой Лев»

В излюбленном заводскими служащими погребке «Голубой Лев» Кнак и Розенцвейг могли беседовать по душам.

— Prosit, коллега!

— Prosit, — чокнулись химики бокалами душистого старого рейнвейна.

— Итак, как же, смею спросить, решили вы использовать ваше великое изобретение?

— Ну, уж и великое, — скромно протестовал Кнак, — важность его я не отрицаю; оно интересно и с теоретической, и с практической стороны, но все же это мелочь в срав-

нении с другими открытиями, сделанными в последнее время. Достаточно вспомнить прошлогоднее сообщение о новом способе получения стали, предложенном Томасом, об искусственном индиго Байэра, фонографе Эдисона, а тем более о недавно построенной Сименсом модели электрической железной дороги или об электрической «свече» русского изобретателя Яблочкова, чтобы увидеть всю незначительность моей технической новинки.

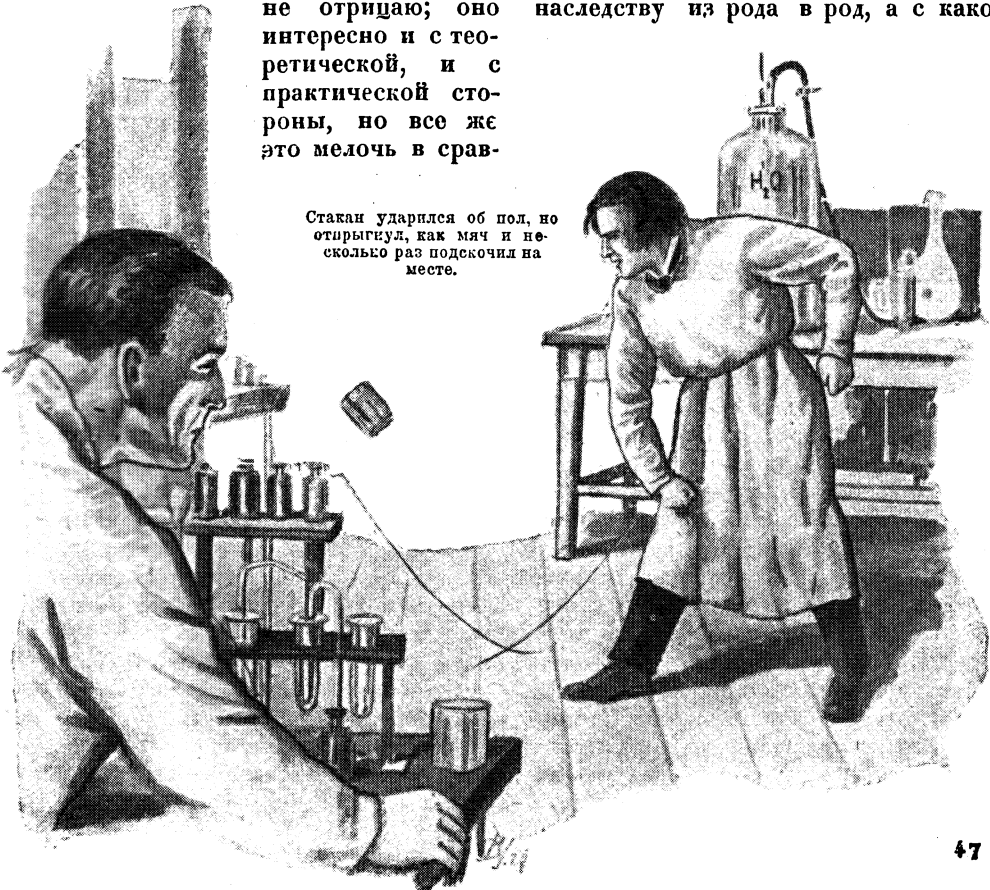
— Нет, герр Кнак, не преуменьшайте своих заслуг. Ваше изобретение ничуть не ниже перечисленных вами. Берете патент?

Подумываю, но есть у меня другая комбинация.

— Неужели хотите отказаться от всех материальных выгод и ограничиться славой, обнаружив свой секрет для всеобщего пользования?

— Ну, — усмехнулся Кнак, — так далеко я в своей филантропии не ушел. Достаточно, что я даю беднякам стаканы, которые будут переходить по наследству из рода в род, а с какой

Стакан ударился об пол, но отпрыгнул, как мяч и несколько раз подскочил на месте.



же стати я стану благодетельствовать стеклозаводчикам. Нет, молодой коллега, я не скрою от вас, что за двенадцать лет работы, за отказ от женитбы на любимой девушке,—семья помешала бы мне отдаться всецело труду,—за воздержание от всех радостей жизни, я хочу теперь взять реванш. Ведь мне только тридцать семь, до старости далеко. Я мечтаю прожить остальную жизнь в свое полное удовольствие, ни в чем себе не отказывая. Довольно труда, довольно забот! Я жажду радостей и счастья: самых красивых женщин, самых тонких вин, самой роскошной обстановки. Вот чего я хочу. Я хочу объездить весь свет, увидеть своими глазами все прославленные местности, все замечательные произведения искусства, услышать всех виднейших артистов. Все, что есть лучшего в мире, все, так или иначе, должно стать мне доступным. Меньше, чем за миллион я своего изобретения не продам.

— И вам дадут этот миллион,—восторженно подтвердил слегка замялевший Розенцвейг.

Он искренно радовался успеху своего старшего товарища, понимая, что тот вскоре бросит службу и он займет его место. Кнак уже обещал рекомендовать его правлению завода в качестве своего заместителя.

— Одно смущает меня,—продолжал счастливый изобретатель,—неизбежность резкого сокращения производства. К чему выдвигать теперь дюжину стаканов, когда единственный из них будет служить дольше, чем раньше все двенадцать.

— Да,—согласился Розенцвейг,—это вызовет большую безработицу среди стекольщиков, они то не будут вам благодарны.

— Что делать, мой друг,—это неизбежное следствие прогресса техники. Вспомните, сколько ткачей в Англии осталось без работы в первое время после изобретения механических ткацких станков. Тысячи стекольщиков мое открытие ввергнет в нужду, но за то удешевит жизнь многим миллионам других тружеников.

— В данном случае—возразил лаборант,—удешевления посуды ожидать

не придется. Наоборот, она даже несколько вздорожает.

— Конечно, кивнул головой Кнак—заводчики свое возьмут. Уменьшение сбыта они компенсируют увеличением стоимости, но все же, я думаю, бедняку выгоднее будет купить раз навсегда один дорогой стакан, чем покупать каждый раз новый дешевый.

V.

Разговор двух американских дельцов.

— Мистер Боннэт!

— К вашим услугам, мистер Джексон.

— Сколько времени служит чайный стакан?

— Теоретически, при аккуратном обращении, чайные стаканы могут служить десятилетиями, практически,—в зависимости от места и условий использования,—они держатся от одного часа с момента как куплены до десяти-двенадцати лет. Известны случаи крайнего долголетия стаканов, возраст которых достиг почтенной цифры ста двадцати лет. Стаканы, хранящиеся в музеях...

— К чорту музеи! Средний срок службы стаканов?

— В частных семейных домах—до трех лет, у холостяков два, в ресторанах и барах—шесть месяцев.

— Очень хорошо! Как отразилась бы на доходах стекольных заводов замена обыкновенных стаканов небьющимися или, скажем, разбиваемыми с очень большим трудом?

— При сохранении существующей продажной цены посуды?

— Да.

— Это должно было бы вызвать полную ликвидацию производства.

— Во сколько раз следовало бы повысить продажную цену стакана, при теперешней его себестоимости, если бы он потерял свою способность лопаться от горячей воды и разбиваться, упав на пол?

— Гм! Это надо подсчитать! Сейчас, сейчас... Приняв расход покупателя стаканов в пять центов за два года в среднем, среднюю продолжительность человеческой жизни в срок лет... Гм? Да!.. Доллар!

Спрашивающий—тучный человек с выпуклыми, холодными голубыми глазами и зачесанным черепом, сидевший в кресле, переложил ногу на ногу и принялся закуривать сигару.

— Могу я вернуться к очередной работе, мистер Джексон?—спросил стоявший перед ним клерк.

— Наоборот, присяйте. Возьмите эту сигару, вам, я уверен, таких курить еще не приходилось. Сидите молча, я должен кое-что обдумать.

Джексон глубже погрузился в кресло и задумался. Боннэт почтительно курил дорогую сигару, стараясь чувствовать восхищение, но внутри души находил ее непросто-тельно слабой. Так протекло пять, может быть, десять минут. Затем Джексон швырнул недокуренную сигару и встал. Боннэт тоже счел своим долгом отложить в сторону сигару и встать со стула.

Директор приблизился к нему и положил руку на его плечо,— честь, которой клерк не удостоивался ни разу за всю свою службу в Тресте Стекольных Заводов Соединенных Штатов Северной Америки и Канады.

— Боннэт, вы немец?

— Американец, мистер Джексон, мои родители были немцы.

— Не в том суть! Вы говорите свободно по-немецки?

— Совершенно свободно.

— Вы поедете на родину ваших предков в Германию, в Эйзенах. Правление даст вам двухмесячный отпуск с сохранением содержания и крупными наградными. Размер этих наградных будет зависеть от того, насколько успешно и выгодно для треста вы выполните одно наше поручение в Германии. В чем оно будет состоять, скажу вам завтра. Можете идти в кон-

тору и продолжать вашу обычную работу. Не забывайте, что молчание еще никому не повредило, а излишняя болтливость погубила многих.

— Буду нем, как могила, мистер Джексон.

Клерк вышел из кабинета директора, тщательно притворив за собою дверь.

VI.

Куно Кнак едет в Америку

Изобретение, сделанное Куно Кнаком, конечно, не могло остаться втайне. Достаточно было одного того, что Кнак прекратил свои опыты, и звуки разбиваемой о цементный пол посуды не развались отныне в лаборатории. Этот отказ от многолетней работы мог означать либо окончательное разочарование в возможности успеха, либо достижение конечной цели. На человека отчаявшегося и разочаровавшегося старший химик Тюрингенского стекольного завода совершенно не походил. Наоборот, он положительно сиял



Во сколько раз нужно повысить цену стакана? — спросил директор треста.

от радости с того дня, как прекратил ежедневное битие стаканов. Значит— он достиг намеченной цели. Однако на прямые вопросы, удалось ли ему изготовить небьющееся стекло, Кнак не давал ответа, отделываясь шутками. Розенцвейг тоже не выдавал товарища и заявлял, что «любопытство— порок», «кто много знает,— тот скоро состарится». Между прочим и он был все эти дни заметно весел и преисполнен приятных надежд. Но лучшим подтверждением предположения, что секрет небьющегося стекла найден Кнаком, явилось необычайное оживление его корреспонденции. Он ежедневно отсылал десятки писем по адресам стекольных заводов всего

света и вскоре начал получать такое же обильное количество ответов, в том числе не мало по телефону.

Через месяц после беседы с Кнаком в гостеприимном зале «Голубого Льва», Розенцвейг уже чувствовал себя полным хозяином лаборатории и прискивал помощника на свое прежнее место.

Через пять недель, протекших с того знаменательного дня, когда стеклянный стакан отскочил от каменного пола, как резиновый мяч, в квартиру при заводе, все еще занятую бывшим старшим химиком, позвонил щеголевато одетый молодой человек, говоривший по-немецки с характерным акцентом немца, родившегося и выросшего в Америке. Это был Якоб Боннэт, доверенный Треста Стеклянных Заводов Северо-Американских Соединенных Штатов и Канады, явившийся в Эйзенгах из Чикаго для личных переговоров с Кнаком. Тот был предвведен о его приезде телеграммой и ждал посетителя, не скрывая своего нетерпения.

Разговор, происшедший между изобретателем и его заатлантическим гостем, был по-американски короток и содержателен.

— Трест поручил мне, мистер Кнак, если мы сойдемся в цене, купить ваше изобретение.

— А если не сойдемся?

— Тогда,— улыбнулся американец,— я должен буду дать ту цену, которую вы назначите, и все-таки купить.

— И эта, приемлемая для треста цена?

— Э, нет! Мы хотим знать ваше предельное требование.

— Миллион долларов,— отвечал Кнак.

— Прекрасно... Рад, что не два. Дело в том, что я получаю от треста тем большее вознаграждение, чем больше съэкономлю на этой покупке.

— Ничего не имею против двух,— рассмеялся изобретатель.

— Поздно. Цену сказали вы сами. Нужен задаток? Вот чек на десять тысяч, пишите расписку. С ближайшим пароходом будьте любезны выехать в Чикаго, запатентовать ваше

изобретение в Соединенных Штатах и передать патент в собственность треста.

— Трест перейдет на изготовление небьющегося стекла?

— Ничего подобного! Трест, пользуясь патентным правом, будет тщательно следить, чтобы никто нигде не вздумал готовить такое стекло. Ведь, это же разорение всей стеклянной промышленности. Продукцию пришлось бы сократить вдесятеро.

— Но зато каким облегчением это было бы для бедняков,— подчеркнул Кнак.

— Во-первых,— отвечал Боннэт,— тресту в высокой степени наплевать на этих самых бедняков, среди них нет его акционеров, во-вторых, вы напрасно воображаете, что бедняки будут вам благодарны за ваше открытие. Оно очень удорожит стоимость посуды. Поверьте, что бедным людям легче время от времени покупать новый стакан за пять центов, чем сразу уплатить целый доллар за вечный стакан.

— Но почему же доллар, когда такие стаканы можно безыточно продавать по сорок пфеннигов,— по десять центов?

— Э, я вижу, вы хотя и хороший химик, но ни к чорту негодный экономист. Только при цене доллар за стакан трест сможет выплачивать акционерам такой же дивиденд, какой они получают сейчас. Мы это все уже подсчитали. Да и не все ли вам равно, станут ли бедняки пить свое пиво из небьющихся стаканов, или попрежнему при случае будут колотить их вдребезги. Ваш миллион от этого не уменьшится и не увеличится.

— Да,— несколько разочарованно протянул изобретатель,— но я мечтал не только о богатстве, мне хотелось привести и пользу людям.

— Фу! Это в вас говорит европейская сентиментальность. Противно слушать! Мы, американцы, люди—дела, доллар прежде всего.

— Так,— вздохнул Кнак,— вероятно вы правы. Во всяком случае я согласен на ваши условия.

— У вас,— спросил Боннэт,— есть рецепты, формулы, записки?..

— Нет, я все относящееся к этому делу держу в памяти. Заносить результаты работы на бумагу—в подобных случаях рискованно. Не далее, как вчера вечером, когда я был в «Голубом Льве»,—это тут у нас такой трактирчик,—кто-то тщательно обревизовал мой письменный стол, ничего не похитив, впрочем. Подозреваю, что вор искал именно те заметки и рецепты, о которых вы говорите.

— Вы не ошиблись, — улыбнулся во весь рот американец.—Надеюсь, когда дело слажено, вы не пойдете теперь на меня доносить? Это работал по моему поручению один молодой человек, специалист в этой области. Трест был бы мне признателен, сумеет ли раздобыть ваш секрет, не вводя в заблуждение в излишние расходы. Итак, с ближайшим пароходом вы отправитесь в Нью-Йорк, а оттуда—в Чикаго. Все расходы по путешествию—за счет треста.

VII.

Встреча с профессором Бидерманом.

Поезд из Эйснаха в Берлин пришел в 2 ч. 20 м., а на Гамбург уходил в 4 ч. 48 м. Времени было более чем достаточно, чтобы успеть съездить в город пообедать в каком-нибудь ресторане. Кнак так и решил поступить. Первым, кого он увидел, войдя в общий зал, был его старый профессор химии, Бидерман.

Бидерман был чудак. Не просто химик, а химик-идеалист. Читая о взрывчатых соединениях азота, он говорил: «эти вещества, концентрирующие скрытую энергию и могущие моментально ее освободить, люди применили для истребления своих ближних. Обидно сознавать, что в данном случае наша прекрасная наука, химия, служит такой, далеко не прекрасной, цели». Вообще Бидерман на лекциях никогда не упускал случая проводить свои гуманные идеи.

Кнаку он искренно обрадовался. Кнак, окончив политехникум, не порвал с ним связи и, в частности, не раз по делам заводской лаборатории за эти годы прибегал к советам и указаниям Бидермана.

Видя, что место рядом с его старым учителем, сидевшим за кружкой пива у маленького круглого столика, свободно, изобретатель направился прямо к нему.

— А, Кнак! Рад вас видеть—радостно приветствовал инженера идеалист ученый.—Откуда и куда? Ведь в Берлине вы бываете только проездом?

— Из Эйснаха в Чикаго, профессор,—отвечал Кнак, крепко пожимая руку Бидермана.

— Слышал, слышал о вашем изобретении. Была заметка в «Schemiche Zeitung»¹⁾. Так это правда,—небьющаяся стекло?

— Правда, учитель.

— И посуда, из него сделанная, действительно не может быть разбита?

— Только с большим, с очень большим трудом. В общежитейском смысле слова,—это неразбивающаяся посуда, она прочнее стальной.

— Чудесно! Первым делом надо будет ею оборудовать университетские лаборатории. Ужасно много бьют колб и реторт студенты первокурсники. Но главное, конечно, сокращение у бедняков расходов на покупку посуды. Сами строите завод, или входите в соглашение с какой-нибудь старой фирмой?

Кнак несколько сконфузился.

— Видите, профессор,—сказал он, садясь и подзывая кельнера,—это почти безнадежное дело строить такой завод.

— Как? Сделать такое благотворное дело для бедняков? Изобретение и не использовать его? Я этого не понимаю.

Кнак заказал обед и углубился в карточку вин.

— Вот это, номер второй, в шесть марок.

— О, вы сибарит, возмутился профессор, я всю жизнь довольствуюсь пивом.

— До сих пор и мне пить хорошее вино приходилось не часто, но теперь я могу позволить себе эту роскошь. Я продал свой патент американцам, учитель.

¹⁾ Химическая газета.

— Досадно, крайне досадно, — покачал головой старый чужак, — они, убежден, взвинтят цены на такую посуду.

— Они ее вовсе не станут делать, — отвечал Кнак, принимаясь за принесенный кельнером суп.

— Не станут делать? Так зачем же они купили ваше изобретение?

— Чтобы никто другой им не воспользовался, — пояснил инженер, устремив все внимание на слоеные пирожки.

— Слушайте, вы! Вы хотите сказать, что променяли славу изобретателя на презренные доллары? Я не узнаю в вас своего бывшего ученика Кнака.

— Эх, профессор! Я и сам перестал узнавать себя с тех пор, как почувствовал себя миллионером. Но, право же, верьте, что ничего бы не вышло из попытки реализовать мое изобретение. Это повело бы к борьбе со стекловарочниками всего мира. Исход такой борьбы предвидеть не трудно.

— Позорно, Кнак, позорно! — огорченно воскликнул старый идеалист и, не подав руки изобретателю, встал из-за стола.

Кнак меланхолически улыбнулся и наполнил бокал золотистым вином.

— Вот это будет существеннее всех филантропических бредней, — подумал он, поднося к губам ароматный напиток.

VIII.

Почему Кнак не доехал до Америки.

После восьмидневного плавания пароход «Кайзерин Августа» приближался к берегам Нового Света. По расчетам капитана оставалось менее суток до того, как вахтенный увидит землю. Пассажиры, как всегда в конце рейса, волновались близостью окончания путешествия, но такое обычное волнение усиливалось на этот раз и особым, несколько жутким, но полным острого интереса.

Сегодня с утра единственной темой разговоров пассажиров всех трех классов, да не только пассажиров, но команды, было загадочное исчезно-

вение одного из пугачиков, инженера Куно Кнака, ехавшего из Эйзенаха в Чикаго, как он о том говорил всем и каждому, с кем только ни заводил знакомства на пароходе.

С утра море было спокойно, хотя ночью налетал шквал и порядочно покачал «Кайзерин Августу». Но за неделю плавания пассажиры свыклись с качкой и к завтраку¹⁾ все появились в столовой; не вышел к нему только Кнак. За ленчем²⁾ его тоже не было. Это смутило стюарта³⁾ и он пошел осведомиться о здоровье пассажира.

После многократного стука в дверь каюты, занимаемой Кнаком, стюарт потихоньку заглянул в его помещение и убедился, что Кнака там нет. Койка, заспанная с вечера постельным бельем, была не тронута, но вечерний костюм инженера был снят и аккуратно сложен на стуле.

Капитан, извещенный о странном отсутствии пассажира, мигнув полицейскому агенту (они всегда сопровождают трансатлантические суда в их рейсах), спустился в каюту Кнака и нашел ее в полном порядке. Известно только, куда исчез ее обитатель.

Были осмотрены все жилые, грузовые и машинные помещения, все закоулки и крысиные норки. Кнака нигде не было.

Крупная сумма денег в бумажнике, найденном в боковом кармане смокинга, вполне соответствовала итогу записей прихода и расхода, отмеченных аккуратным немцем в записной книжке, лежавшей вместе с бумажником. Золотые часы с дорогими брелоками на массивной золотой цепочке тикали в ящике ночного столика. Там же нашлись ключи от чемоданов. Чемоданы были заперты, и незаметно было, чтобы их кто либо пытался открыть.

Полицейский агент высказал предположение, что пропавший пассажир, сделав свой ночной туалет, раньше чем улечься на койку, вышел зачем то ненадолго из каюты, даже не со-

¹⁾ Первый завтрак.

²⁾ Второй завтрак.

³⁾ Нечто вроде паровозного метростоя.

решений.

что нужным ее запереть и... не вернулся.

Как ни ломали себе головы агент по обязанности, а остальная публика — из любопытства, куда делся Кнак, никто не мог ничего придумать.

Подбор пассажиров был, повидимому, безупречный, все люди солидные и денежные, либо честные труженики эмигранты, ехавшие в третьем классе. Последние, кстати сказать, не имели никакого сообщения с привилегированной публикой первых двух классов, а Кнак никогда к ним не заглядывал и знакомых среди них не имел.

Правда, в числе пассажиров второго класса был один субъект подозрительного свойства, костюмом и манерами напоминающий школьного учителя, но в действительности, — как то доподлинно знал полицейский агент, — бывший международным воров-взломщиком несгораемых касс. Но агент также хорошо знал, что руки Кэрри Булля никогда за всю его долголетнюю преступную деятельность, не обгадились кровью. На свой «промысел» Булль принципиально выходил, не имея при себе даже карманного ножа.

Все же сыщик пытался ловкими расспросами пассажиров выяснить, не причастен ли Кэрри Булль к исчезновению инженера-изобретателя, но, как оказалось, взломщик отчаянно боялся моря и в бурную погоду не покидал своей койки. Так было и в ночь загадочного случая с Кнаком. По словам всех, бывших в одном помещении с Булем, он не отлучался из него ни на минуту.

Тем менее можно было заподозрить в преступлении кого либо из судовой команды. Она состояла из людей, много лет служивших все в той-же



— ... но главное — сокращение расходов у бедняков на посуду, — говорил профессор Вилдерман.

пароходной кампании и известных как капитану, так и полицейскому агенту с самой лучшей стороны.

Самоубийство?

Но Кнак во все время плавания был так откровенно счастлив, так жизнерадостен, так по детски восхищался и пароходом, и морскими видами, так был общителен и разговорчив, что ни у кого даже не возникла мысль: не сам ли он бросился в море? С какой стати человеку, ни от кого не скрывавшему своего счастья, вдруг, ни с того — ни сего, покончить с собою?

Так этот удивительный случай и остался невыясненным. Его тайну знали только ночная буря, океанские волны и некий Джонатан Райт, приятель Якоба Боннэта и сосед исчезнувшего Кнака по каюте первого класса. Он, впрочем, более всякого другого был заинтересован в сохранении этой тайны.

Может быть кое-что узнало и Правление Треста Стекольных Заводов Соединенных Штатов Северной Америки и Канады, но оно не спешило ни с кем делиться своею осведомленностью.

И тоже не без причины.

РАДИ ПРИХОТИ

Очерк П. К—ВА.



Недавно открытый вид райской птицы с двумя длинными перышками на голове. У нее черное оперенье с зеленым хохолком и грудью.

пада, охотники всегда подвергаются смертельной опасности. В непроходимой чаще девственных лесов скрывается туземец, ничем не отличающийся от людей каменного века и подстерегающий отважного белолыцего с отравленными стрелами. В тропических болотистых низинах охотники заболевают смертельной лихорадкой, и бесчисленные свирепые насекомые всячески мешают им проникнуть вглубь острова, где живет райская птица.

И неудивительно, что вокруг этой птицы сложилось множество легенд. В старину путешественники по голландской Ост-Индии рассказывали, будто у этой дивной птицы нет ни ног, ни крыльев, и что она всю жизнь висит в воздухе, зацепившись пыльным хвостом за верхние ветви деревьев и питается нектаром цветов.

В апреле и в мае самцы райской птицы пляшут фантастический танец, распуская злые хвосты перед восхищенными самками в темном оперении.

Озлогник за райской птицей уходит далеко вглубь девственного леса Новой Гвинеи, такого густого, что в него не проникают лучи солнца.

Высокие цены за очаровательные перья заставили туземных охотников беспощадно избивать птиц. Папуасы продают их торговцам, от которых получают взамен опиум. Ужасный соблазн, которым стал для туземца этот наркотик, привел к тому, что по всему побережью совершенно истреблена райская птица, и теперь охотнику приходится уходить далеко в горы, где еще живут и пляшут прекрасные, ослепительно яркие птицы.

В Новой Гвинее птицы эти стали монополией предводителей прибрежных племен, и они скупают их за бесценок у папуасов, живущих в горах. Белолыдые или смуглые торговцы, или ученые, собирающие птиц для музеев, обычно берут себе проводников из племен низкой, прибрежной части острова. Не легко заарбовать такого проводника для путешествия внутрь страны. Жители гор-каннибалы и смертельные враги папуасов низин.

В животном мире оперение или цвета самки всегда скромнее, чем у самца. Так устроила природа. Но в человеческом мире произошло нечто иное. Красивая или некрасивая женщина, безразлично, стремится непременно сделаться привлекательнее, не довольствуясь своей естественной прелестью. И чем богаче женщина, чем шире открываются для нее возможности украсить редким и трудно достигаемым, тем она более стремится к этому. От перьев райской птицы до змеиной кожи—такова модная программа западно-европейской и американской дамы. И женщине нет дела, с какими трудом и опасностями добываются совсем ненужные ей «украшения».

Глубоко в чаще лесов, на каннибальских островах Южных морей, люди каждый день рискуют жизнью, чтобы удовлетворить капризы моды на Западе, требующие все новых и новых жертв. В погоне за перьями прекрасной райской птицы, за теми «парадами», которые непременно должны украшать головные уборы «шикарных женщин» За-



Красная райская птица в период ухаживания за самкой.

Первую часть путешествия, сто пятьдесят миль, делают вверх по реке на пароходе. Потом белолицый собирает сь пересаживается на паровой баркас и два дня плывет вверх по реке туда, откуда уже челнок доставит его к подножию гор. Сотни раз приходится высаживаться на берег и, обходя пороги, переносить на себе челнок. Этот путь берет не мало дней, и течение здесь так быстро, что обратно это путешествие заканчивается всего часов в шесть.

В горах Гвинеи живут самые прекрасные образцы райской птицы. Вот охотник юркнул до этих гор, превозмог все трудности пути. Но тут его ждут по ночам холодные и такие сырые туманы, что с деревьев, как после дождя, окатывает его водой. Атмосфера напоминает северные туманы, только с той разницей, что вы окружены туземцами из времен каменного века с отравленными стрелами и каменными топорами. Кругом лесная чаща и на пути она ные обрывы над болотами, где кишат гигантские москиты. Каждый из семидесяти восьми известных видов райских птиц, перечисленных английским собирателем лордом Ротшильдом, живет в особой полосе страны. В сезон спаривания охотник скрывается в чаще под деревьями, и ему открывается самое удивительное зрелище.

С десяток птиц пляшут на деревьях, широко раскинув крылья, точно два золотых веера. У основания эти крылья темно-красные и к концу переходят в бледно-золотистый цвет.

Птицы держат крылья в горизонтальном положении и выгибают шею. Над крыльями по обе стороны поднимаются грациозные, пышные пучки перьев. В такой позе они пляшут вверх и вниз, совершенно не сознавая опасности.

Юноша-напаус, стоящий у подножия высокого дерева, бьет птицу за птицей, собирая их, когда они падают с ветвей. Охотник тут, главным образом, конечно, старается не попортить прекрасное оперенье.

На одиноком острове Ару, в 250 милях от голландской Новой Гвинеи, водятся несколько великодушных видов райской птицы. Тут охотники—туземцы обычно живут в джунглях, вне деревни. Они строят себе хижинки под прикрытием деревьев, на которых появляется райская птица. На заре охотник карабкается на дерево и ждет, спрятавшись за искусно сделанной завесой из ветвей и тростника.



Туземцы острова Ару на охоте за райскими птицами.

Перед самым восходом солнца он слышит громкие крики в различных направлениях. Потом охотник видит среди деревьев мелькающий золотой хвост. Как только птица садится на вершину дерева, скрытый охотник пускает в нее стрелу с круглым наконечником. Стрела оглушает птицу, но не пробивает оперенья и не вонзается в ее тело.

Красная райская птица водится только на островке Вайгну, недалеко от Новой Гвинеи. Тут местные охотники изобрели очень остроумный способ ловить этих птиц. Они знают, что райская птица очень любит один ярко-красный плод. Они прикрепляют этот плод к большой разделенной на конце, как вилка, палке и, захватив крепкую веревку, отыскивают в лесу дерево, на котором сидят райские птицы. Они укладывают палку на ветку и так ловко делают петлю из веревки, что когда птица прилетает на приманку и начинает клевать плод, нога ее попадает в веревку, как в капкан, и охотник стаскивает ее с дерева за висящий внизу конек.

У туземцев существует еще и такой способ ловли райских птиц. В тех местах, где водится эта птица, туземцы прорубают в лесной чаще нечто в роде просеки и птицы привыкают летать по этой аллее. Некоторое время спустя в конце просеки расставляются большие тенета, потом страшными криками спугивают птиц и гонят их по просеке прямо в эти тенета.

Яйца райской птицы высоко ценятся орнитологами и музеями. Они покрыты каким-то очень своеобразным рисунком. Туземцы уверяют, будто райская птица вьет гнездо в муравейнике и кладет только одно яйцо.

Лорд Ротшильд владеет самой большой в мире коллекцией оперенной райских птиц. Коллекция эта находится в Англии, в зоологическом музее в Гринге, в Хейтфордшире. Многие из этих оперений были приобретены в самом сердце британской и голландской Новой Гвинеи.

В европейских же колониях, на островах

Яве, Борнео и Суматре процветает еще другой промысел, тоже порожденный жестокими капризами моды. Париж ищет все нового и нового в области роскоши. Однообразие кожи, идущей на обувь, сумочки, портфели,—надоело. Мода требует теперь кожу змеи и крокодила. И вот люди снова рискуют жизнью, но достают, во что бы то ни стало, достают тропических змей с южных островов, нитонов из Африки и с Мадагаскара, пятнистых пачофлакс с Гвианы, страшного боа констриктора и серого с красным в дянго удава с Антильских островов. Кожи этих змей дубятся и затем из них выделываются сумочки, туфли, маленькие чемоданы и даже дамские пальто.

Посмотрите на помещаемый здесь снимок. Какой неприятный и безобразный вид у ноги в туфле из змеиной кожи. Точно рубцами от заживших язв покрыта нога.

Каждый заводчик ревниво хранит тайну состава, которым дубят кожу змеи, и ста-



Сверху—сумочки из змеиной кожи; справа—модница в пальто из змеиной кожи; посредине «змеиные туфли»; снизу—образцы выдубленной кожи разных пород змей.

исключений.

рается щегольнуть возможно лучшей выделкой этой кожи. Кроют же кожу в мастерских простым сапожным ножом и динковыми пластинками.

Но, быть может, в этой последней моде есть еще хоть какой-нибудь здравый смысл: уничтожение змей приносит пользу населению, а для него большая безопасность.

А кому вредят редкие райские птицы, эти прекрасные экзотические птицы-цветы?

Кому вредят безобидные

крошечные зверьки шеншиллы—самый дорогой мех для дамских палантинов и манто?

Манто красавицы, изображенное на рисунке, стоит теперь не менее 25.000 руб. так как для его изготовления надо около двухсот серебристо-серых пушистых шкурок. Но спрос рождает предложение, и в Америке уже создано общество для искусственного разведения шеншилла, при чем для его помки и изучения условий жизни недавно снаряжена делающая научная экспедиция.



В Январском номере „Мира Приключений“ будут помещены:

О Д Н А Т Р Е Т Ъ Ж И З Н И

научно-фантастический рассказ.

Л И Л О В А Я Б У К В А

рассказ-задача на премию в 100 рублей.

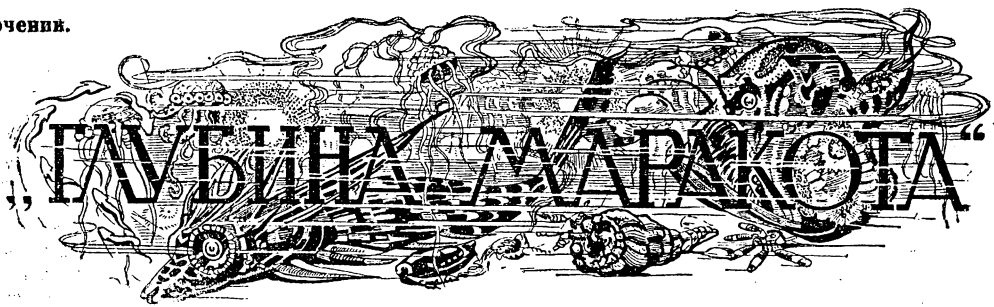
О Д И С С Е Я Г О Р Ч И Ч К И Н А

юмористический рассказ

Э Л Ь - К У Б У Р

из преданий Хорезма.

и много другого литературного и популярно-научного материала, обильно иллюстрированного оригинальными рисунками.



Содержание 1-й части, помещенной в Ноябрьской книжке „Мира Приключений“.
Новый научно-фантастический роман А. КОНАН-ДОЙЛЯ

Профессор Маракот, знаменитый ученый, организовал экспедицию для изучения жизни морских глубин. Он отправился из Англии, по неизвестному направлению, вместе с молодым ученым Сайресом Хедлеем и механиком Билем Сканланом. Вскоре после этого, в письме с Канарских островов, Хедлей рассказал, как профессор Маракот поразила своих спутников, объявив им, что на борту их судна находится стальная клетка с хрустальными окнами, в которой они должны опуститься на дно Атлантического океана. После этого письма почти целый год не было никаких известий, и экспедицию считали погибшей. Но вдруг неожиданно очень странным образом было получено сообщение о профессоре Маракоте. Капитан парохода, шедшего из Кардифа в Буэнос Айрес, выловил в море стеклянный шар, в котором было заключено дальнейшее описание Сайреса Хедлей. Оно подтверждало, что план профессора удался и что клетка с тремя пассажирами опустилась на дно Атлантического океана.

Часть II.

Я думаю, что некоторое время мы все испытывали одно и то же. У нас не было желаний ни действовать, ни осматриваться кругом. Нам просто хотелось спокойно сидеть и попытаться охватить всю чудесность нашего положения — что мы стоим на самом дне в центральной части одного из великих океанов мира. Но скоро необычайная картина, освещенная по всем направлениям нашими огнями, снова привлекла нас к окнам.

Мы опустились на слой высоких водорослей (— „Cutleria multifida“, — сказал Маракот), желтые отростки которых колыхались вокруг нас, приводимые в движение каким-нибудь течением морских глубин, так же точно, как качались бы ветви при легком ветерке. Они не были достаточно длинны, чтобы затемнить нам поле зрения, хотя их большие, плоские листья, казавшиеся при освещении темнотолотыми, и развевались временами на фоне открывающейся нам картины. За водорослями виднелись пространства какого-то черноватого, похожего на шлак вещества, усеянные прелестными разноцветными существами, голотуриями, асси-

диями, морскими ежами и другими иглокожими, так же пышно, как весной в Англии холмы осыпаны гиацинтами и белыми подснежниками. Эти живые цветы моря, ярко красные, густо пурпуровые и нежно розовые, были во множестве рассыпаны по угольно-черному фону. Тут и там огромные губки щегинились из расщелин темных скал, и несколько рыб средних глубин, сами кажущиеся мелькающими цветными лучами света, проносились через наше яркоосвещенное, сверкающее поле кругозора. Мы, как очарованные, смотрели на это сказочное зрелище, когда в телефонной трубке раздался взволнованный голос сверху:

— Ну, а как вам нравится на дне? Все ли у вас благополучно? Не оставайтесь там слишком долго, барометр падает, и он мне не нравится. Мы вам даем достаточно воздуха? Нет ли еще каких-нибудь распоряжений?

— Все хорошо, капитан! — весело закричал Маракот. — Мы не задержимся. Вы отлично нянчитесь с нами. Нам здесь так же хорошо, как в наших каютах. Будьте наготове, и медленно двигайте нас вперед.

Мы вопли в область светящихся рыб и нас забавляло выключать наш собственный свет и в полном мраке— во мраке, в котором свето-чувствительная пластинка, провисла она целый час, не обнаружила бы и следов ультрафиолетовых лучей, — смотреть в окна на фосфоресцирующую жизнь океана. Точно на фоне черного бархатного занавеса виднелись маленькие точки сверкающего света, спокойно двигавшиеся, точно паролод, проливающий ночью свет через свои бесчисленные иллюминаторы. У одного страшного существа были светящиеся зубы, которыми он библейски скрежетал во мраке. У другого были длинные золотые щупальцы, а еще у иного — пламенный султан над головой. Насколько хватал наш глаз, во мраке мелькали сверкающие точки. Каждое из этих маленьких существ торопилось по своему делу и само освещало себе дорогу с такой же уверенностью, как ночные таксомоторы в часы театров на Стрэнде в Лондоне. Скоро мы снова зажгли наш собственный огонь, и доктор стал делать наблюдения над морским дном.

— Несмотря на то, что мы на такой глубине, мы опустились недостаточно низко, чтобы наблюдать какие-нибудь характерные отложения морского дна,—сказал Маракот.—Они совершенно вне доступных нам границ. Может быть, в другой раз, с более длинным канатом!..

— Бросьте это!—проворчал Биль.— И не думайте об этом!

Маракот улыбнулся.

— Вы скоро акклиматизируетесь в глубинах, Сканлан. Это будет не единственный наш спуск на дно океана.

— Еще что скажете! — пробормотал Биль.

— Для вас это будет так же просто, как опускаться в трюм «Стратфорда». Обратите внимание, мистер Хедлей, что почва здесь, насколько мы можем разглядеть сквозь густую заросль водорослей и кремнистых губок, представляет собою пемзу и черный базальтовый шлак, что указывает на древнюю, плутоническую деятельность. И даже склоняюсь к мысли,—

и это подтверждает мой первоначальный взгляд, — что эта скала — часть вулканического образования, и что «Глубина Маракота», — произнес эти слова, растягивая их, точно был влюблен в них, — находится за скатом этой горы. Мне пришло в голову, что было бы интересным экспериментом медленно продвинуть нашу клетку дальше до края этой Глубины и увидеть, какое в этом месте образование почвы. Я бы лично ожидал увидеть пропасть величественных размеров, простирающуюся вниз под острым углом в огромнейшие глубины океана.

Подобный опыт казался мне очень опасным. Кто мог сказать, как долго выдержит давление наш тонкий канат при боковом движении? Но для Маракота просто не существовало опасности ни по отношению к нему самому, ни для других, когда нужно было сделать какое-нибудь научное наблюдение. Я затаил дыхание и заметил, что то же сделал и Биль-Сканлан, когда медленное движение нашей стальной оболочки, отклоняя в сторону развеваящиеся листья морских водорослей, показало, что мы испытывали теперь всю силу давления. Но клетка наша достойно выдержала это испытание, и мы стали продвигаться по дну океана в очень легком скользящем движении. Маракот, с компасом на ладони, выкрикивал свои указания относительно направления и по временам приказывал, чтобы поднимали клетку во избежание каких-нибудь препятствий на пути.

— Этот базальтовый хребет едва ли имеет в ширину больше мили, — объяснил он. — Я отметил, что пропасть находится к западу от точки, в которой мы погрузились. При такой скорости мы, конечно, достигнем ее в очень короткое время.

Мы беспрепятственно скользили по вулканической равнине, покрытой колыхающимися золотыми водорослями.

Равнина эта была прекрасной потому, что ее украшали роскошные драгоценные камни, живые, созданные природой, и пламенем сверкавшие точно из своей оправы черного

базальта. Вдруг профессор бросился к телефону:

— Остановитесь тут! — закричал он.—Мы доплыли!

Перед нами неожиданно раскрылся чудовищный провал. Это было навещающее ужас место, видение кошмара. Черные блестящие базальтовые скалы круто обрывались в какую-то неизвестность. Края их обросли бахромой развевающейся *Laminaria*. Так папоротник спускался бы над какой-нибудь земной пропастью. Но под этой качающейся, трепещущей каймой были только блестящие стены бездны. Скалистые края обрыва, извиваясь, ускользали от нас, но пучина могла быть любой ширины, потому что наши огни не были в состоянии проникнуть во мрак, лежавший впереди нас. Когда сигнальная лампа Лукаса была повернута книзу, она протянула длинную золотую дорогу из параллельных лучей, бежавшую вниз, вниз, вниз, пока ее не поглотил мрак ужасной бездны под нами.

— Это, действительно, замечательно! — воскликнул Маракот, глядя в окно. На худощавом, взволнованном лице его было довольное выражение собственника.—Что касается Глубины, то мне не надо говорить, что она часто бывала превзойдена. Есть, например, глубина Чэлленджера в 26.000 футов вблизи Ладронских островов, глубина Планета в 32.000 ф. недалеко от Филиппинских островов, и много других, но очень вероятно, что Глубина Маракота стоит особняком по крутизне ее спуска и замечательна также тем, что укрылась от наблюдений такого множества гидрографических исследователей, наносивших на карту Атлантический океан. Едва ли можно сомневаться...

Он остановился посреди фразы и на лице его застыло выражение глубочайшего интереса и удивления. Биль Скэнлан и я, смотревшие из-за его плеч, были совершенно подавлены тем, что представилось нашим пораженным глазам.

Какое-то огромное существо поднималось к нам по световому туннелю, который был направлен нами в бездну.

Далеко внизу, где луч исчезал во мраке пропасти, мы смутно могли разглядеть неясное черное колыхание и движение какого-то чудовищного тела, медленно поднимавшегося кверху. Неуклюже барахтаясь, оно всплывало к краю бездны, тускло поблескивая. Теперь, когда чудовище приблизилось, оно находилось в самом луче, и мы яснее могли видеть его ужасающий облик. Это было животное, еще неизвестное науке, но схожее со многими знакомыми нам видами. Тело его было слишком длинно для огромного краба и слишком коротко для гигантского омара. Очертаниями оно вернее напоминало речного рака, с двумя чудовищными клешнями, вытянутыми с двух сторон, и парой шестнадцатифутовых усов, подрагивавших перед его черными, тусклыми, угрюмыми глазами. Светло-желтая чешуя его имела, вероятно, футов десять в ширину и полную ее длину, не считая усов, была, должно быть, не меньше тридцати футов.

— Удивительно! — воскликнул Маракот, неистово царапая в своей записной книжке.—Глаза—сложные, со множеством фасеток, эластичные пластинки панциря, семейства раковых, неизвестного вида. *Crustaceus Maracoti*—«Рак Маракота» — почему бы и нет? Почему бы и нет?

— Чорт возьми, мне все равно, как его зовут, но мне кажется, что он плывет в нашу сторону! — закричал Биль.—Послушайте-ка, д-р, не потушить-ли нам наши огни?

— Только одну минуту, пока я запишу его строение, — воскликнул естествоиспытатель.—Да, да, этого достаточно.

Он повернул выключатель, и мы снова погрузились в черный, как чернила, мрак с мелькающими только в воде огоньками, похожими на метеоры в безлунную ночь.

— Это, верно, самый страшный в мире зверь, — сказал Биль, вытирая себе лоб.—Я чувствовал себя так, точно утром после бутылки запретного у нас в Америке алкоголя.

— Конечно, на него страшно смотреть, — заметил Маракот, — и, может быть, страшно и иметь с ним дело,

если бы мы действительно были доступны этим чудовищным клешням. Но внутри нашей стальной клетки мы можем себе позволить спокойно и безопасно рассматривать его.

Едва он произнес эти слова, как в нашей внешней стенке раздался стук, похожий на удар кирки. Потом началось продолжительное трение и дарапанье, закончившиеся другим резким ударом.

— Да, он хочет к нам войти!—испуганно воскликнул Биль Сканлан.— Чорт возьми! Нам придется написать на нашей повозке: «Вход воспрещается».

Его дрожащий голос показывал, как искусственно было его веселье, и я должен сознаться, что мои собственные колени стукались друг о дружку, когда я видел, как это таинственное чудовище закрывало по очереди наши окна еще более черным мраком. Оно точно исследовало эту странную скорлупу, которая могла бы заключать в себе пищу для него, если бы оно ее раздавило.

— Он ничего не может нам сделать,—сказал Маракот, но в голосе его было меньше уверенности.—Быть может, следовало бы стряхнуть этого зверя.—Он крикнул капитану по телефону:—Поднимите нас футов на двадцать или тридцать.

Несколько секунд спустя мы поднялись с вулканической равнины и тихонько закачались в тихих водах. Но ужасное животное было настойчиво. После очень короткого перерыва мы снова услышали дарапанье его усов и резкие удары его клешней, когда оно ощупывало нас кругом. Ужасное чувство—безмолвно сидеть во мраке и знать, что смерть так близка! Выдержит ли окно, если на него опустится эта могучая клешня? Этот невысказанный вслух вопрос был на уме у каждого из нас.

Но тут вдруг представилась неожиданная и более непосредственная опасность. Стуки перенеслись на крышу нашего маленького жилища, и мы теперь стали ритмически раскачиваться взад и вперед.

— Боже милостивый!—воскликнул я.—Он хватился за канат. Он непременно оборвет его!

— Послушайте-ка, д-р, я за то, чтобы подняться на поверхность. Думаю, что мы видели то, что хотели здесь видеть, и Биллю Сканлан подавай теперь дом, родной дом. Распорядитесь по телефону, чтобы нашу машину подняли.

— Но наша работа закончена еще только наполовину,—прохрипел Маракот.—Мы еще только начали исследовать края Глубины. Посмотрим хотя бы ее ширину. Я готов буду вернуться, когда мы достигнем ее противоположного берега.—Потом в трубку:—Все хорошо, капитан. Продолжайте двигать со скоростью в два узла, пока я не крикну, чтобы вы остановились.

Мы медленно двинулись вперед через край бездны. Темнота не спасла нас от атак, и мы снова зажгли наши огни. Один из иллюминаторов был совершенно затемнен тем, что оказалось нижней частью живота страшного существа. Его голова и клешни работали над нашей крышей и мы продолжали раскачиваться, как звонящий колокол. Сила животного должна была быть огромной.

Находился ли когда-нибудь человек в таком положении, с пятью милями воды внизу и с этим смертоносным чудовищем наверху?

Раскачивание становилось все сильнее и сильнее. Из трубки раздался взволнованный оклик капитана, заметившего дерганье каната. Маракот вскочил на ноги и в отчаянии вскинул кверху руки. Даже внутри нашей оболочки мы слышали дребезжание разорванных проводов, и мгновение спустя—падали в огромную бездну под нами.

Когда я оглядываюсь на это ужасное мгновение, я припоминаю дикий крик Маракота:

— Канат оторвался! Вы ничего не можете сделать! Мы все мертвецы!—кричал он, схватив телефонную трубку. И потом:—прощайте, капитан, прощайте все!

Это были наши последние слова миру людей.

Мы не полетели быстро вниз, как можно было бы предположить. Не-

смотря на наш вес, наша полая оболочка давала нам возможность держаться в воде, и мы медленно и плавно опускались в бездну. Я слышал продолжительное дарапание, когда мы скользили между клешнями ужасного существа, ставшего причиной нашей гибели. Потом плавным, круговращательным движением, мы стали опускаться вниз в бескрайние бездны. Прошло, может быть, целых пять минут, показавшихся часом, прежде чем мы достигли предела нашего телефонного провода и оборвали его, как нитку. Наша воздушная труба оторвалась почти в то же самое мгновение, и соленая вода брызнула в отверстие. Биль Скэнлан быстро и ловко обвязал веревками каждую из гуттаперчевых труб и таким образом остановил вливавшуюся к нам воду, в то время, как доктор отвинтил крышку с нашего баллона с сгущенным воздухом, который вырвался с шипением. Огни потухли, когда проволока оборвалась, но даже во мраке доктор смог соединить сухие элементы Геллезена и они зажгли несколько лампочек в потолке.

— Они должны бы нам служить неделю,—сказал он с кривой усмешкой. У нас по крайней мере будет свет, чтобы умирать.—Потом он грустно покачал головой и на его изможденном лице появилась ласковая улыбка.—Для меня-то это не страшно. Я—старик и выполнил свою работу в мире. Единственное, о чем я сожалею, это, что я позволил вам, двум молодым людям, отправиться со мной. Я должен был бы рисковать один.

Я только пожал ему успокоительно руку, потому что действительно ничего не мог тут сказать. Биль Скэнлан тоже молчал. Мы медленно опускались, отмечая наше движение темными тенями рыб, которые мелькали мимо наших окон. Казалось, что, вернее, они летят вверх, чем мы опускаемся вниз. Мы все еще раскачивались и, насколько я себе представлял, ничто не могло нас спасти от падения на бок. Мы даже могли перевернуться и вверх ногами. Но наша тяжесть была, к счастью,

очень равномерно распределена и мы сохраняли вертикальное положение. Взглянув на измеритель глубин, я увидел, что мы уже достигли глубины миль.

— Это точь в точь как я и говорил,—заметил с некогорой снисходительностью Маракот.—Вы могли видеть в протоколах Океанографического Общества мои положения о соотношении давления и глубины. Я хотел бы иметь возможность послать в мир одно слово, хотя бы для того, чтобы изобличить Бюлова из Гиссена, который пытался оспаривать меня.

— Ну, нет! Если бы я мог послать в мир словечко, я бы не тратил его попустому на этого большеголового негодая,—сказал механик. В Филадельфии есть малютка.. на красивых глазах ее будут слезы, когда она услышит, что Биль Скэнлан скончался. Ну, надо сказать, что это, как никак, довольно-таки странный способ умирать.

— Вам не нужно было отправляться с нами,—сказал я, кладя руку на его руку.

— Что бы я был за товарищ, если бы я вас оставил?—ответил он.— Нет, это мое дело, и я рад, что не изменил ему.

— Сколько жизни нам осталось?.. спросил я доктора после паузы.

Он пожал плечами:

— Мы, как бы то ни было, успеем увидеть настоящее дно океана,—сказал он.—В трубах хватит воздуха на большую часть дня. Наше несчастье—отработанные продукты. Вог, что задушит нас. Если бы мы могли отделаться от нашей углекислоты...

— Я заранее могу сказать, что это невозможно.

— У нас есть один баллон с чистым кислородом. Я захватил его на случай несчастья. От времени до времени немножко этого кислорода поможет нам продержаться в живых. Вы можете видеть, что мы теперь на глубине больше, чем двух миль.

— Зачем нам пытаться сохранять свою жизнь? Чем скорее все будет кончено, тем лучше,—сказал я.

— Это правильно,—крикнул Скэнлан.—Разом кончайте с этим.

ключений.



Голова и клешни морского чудовища работали над нашей крышей. Мы раскачивались, как звонящий колокол.

— Пропустить самое удивительное зрелище, которое когда-либо видели глаза человека! — сказал Маркот. — Это было бы измемой паузе. Будем

отмечать факты до конца, даже если они навсегда будут погребены с нашими телами. Сыграем игру до конца.

— Вот настоящий спортсмен, наш доктор!— воскликнул Скалан.— У него, сдаётся, кишки получше, чем у всей нашей компании. Ну, посмотрим представление до конца.

Мы все трое терпеливо сидели на диване, хватаясь за его края напряжёнными пальцами, в то время, как он раскачивался из стороны в сторону, и рыбы продолжали быстро пронеситься кверху поперек иллюминаторов.

— Теперь три милл,— заметил Маракот.— Я дам кислороду, мистер Хедлей, потому что стало уже тяжело дышать. Скажу ещё одно,— прибавил он со своим сухим, скрипящим смехом.— С этого времени наше местонахождение, конечно, будет называться Глубиной Маракота. Когда капитан Хови вернётся с известием о нас, мои коллеги позаботятся, чтобы моя могила была бы и моим памятником. Даже Бюлов из Гессена...— Он продолжал бормотать про какие-то неизвестные нам научные обиды.

Мы снова сидели в молчании, следя за стрелкой, которая ползла к четвертой миле. В одном месте мы ударились о что-то плотное. Нас встряхнуло так сильно, что я боялся, что мы перевернёмся на бок. Может быть, это была огромная рыба или же весьма вероятно, что мы налетели на какой-нибудь выступ скалы, через ребро которой мы были брошены вниз. Ребро это казалось нам прежде на такой необычайной глубине, а теперь, глядя на него из нашей ужасной бездны, мы могли принять его почти за поверхность океана. Но мы продолжали кружиться, как в водовороте, опускаясь все ниже и ниже через темнозеленое водное пространство. На циферблате теперь было отмечено двадцать пять тысяч футов.

— Мы почти у конца нашего пути,— сказал Маракот.— В прошлом году мой Скоттовский измеритель показал мне двадцать шесть тысяч семьсот футов в самой глубокой

точке. Мы узнаем нашу судьбу через несколько минут. Может случиться, что сотрясение разобьет нас. Может случиться...

И в эту минуту мы остановились.

Никогда младенец, которого мать опустила в пуховую кровать, не лежал мягче, чем мы теперь на самом глубоком дне Атлантического океана. Мягкая, густая, эластичная тина, на которую мы сели, была настоящим буфером, который спас нас от всякого малейшего сотрясения. Мы едва пошевелились на нашем сидении и это было к лучшему, потому что мы сели на нечто вроде небольшого круглого пригорка, обросшего густым слоем вязкого, студенистого ила. Тихонько покачиваясь, мы находились в равновесии, при чем почти половина нашего основания выступала и ничем не поддерживалась. Была опасность, что мы перевернёмся на бок, но, в конце концов, клетка наша прочно села и встала неподвижно. В это самое время профессор Маракот, глядя широко раскрытыми глазами через свой иллюминатор, удивленно вскрикнул, повернул выключатель и погасил свет.

К нашему глубочайшему удивлению, мы продолжали отлично видеть. Извне в иллюминаторы вливался тусклый, туманный свет, как холодное сияние зимнего утра. Мы смотрели на необычайную картину и без помощи наших собственных огней ясно видели на расстоянии нескольких сот ярдов по всем направлениям. Это было невозможно, непонятно, но тем не менее свидетельства наших чувств говорили нам, что это—действительность. Огромное дно океана светилось.

— Почему бы и нет?— воскликнул Маракот, когда мы минуты две простояли в молчаливом удивлении.— Разве я не должен был это предвидеть? Что представляет собою этот птероподный и глобнериновый ил? Не есть ли это продукт разложения, разрушающихся тела биллионов и биллионов органических существ? И разве разложение не имеет связи с фосфоресцирующим светом. Где во

всей вселенной это можно было бы видеть, если не здесь? Ах! Действительно, жестоко, что мы имеем такие доказательства и не можем послать наши знания обратно в мир.

— И все же,—заметил я,—мы зачерпывали по полтонне фосфоресцирующего студня и не обнаруживали такой способности светиться.

— Он, без сомнения, потерял ее в этом долгом путешествии к поверхности. И что такое полтонны по сравнению с этими далеко растянувшимися равнинами медленного гниения? Смотрите, смотрите,—закричал он в неодолимом волнении,—существа морских глубин пасутся на этом органическом ковре, так же точно, как наши стада пасутся на лугах!

В то время, как он говорил, стая больших черных рыб, тяжелых и коренастых, стала медленно плыть к нам по дну океана, роясь носом среди губчатых растений и поклевывая пищу. Другое огромное красное существо, точно глупая корова океана, жевало жвачку перед моим иллюминатором, и еще иные существа таранили тут и там глаза, поднимая от времени до времени головы, чтоб поглазеть на странный предмет, так неожиданно появившийся среди них.

Я только мог удивляться Маракоту, который в этом испорченном воздухе, сидя под самой тенью смерти, все же подчинился зову науки и заносил свои наблюдения в записную книжку. Не следуя в точности его методу, я тем не менее сделал свои собственные мысленные записки, которые навсегда сохранятся, как картина, отпечатавшаяся в моем мозгу.

Самые нижние равнины океана состоят из красной глины, но тут она была покрыта серым морским илом, который образовал волнистую поверхность всюду, куда только достигал глаз. Эта равнина не была гладкой, но ее прерывало множество странных, круглых пригорков, как тот, на котором мы осели. Все эти горки поблескивали в призрачном свете. Между этими маленькими горками проносились тучи странных рыб, некоторые из которых были совершенно неизвестными науке. Рыбы эти

сверкали всеми оттенками красок, но преобладал красный и черный цвет. С подавленным волнением Маракот наблюдал за ними и отмечал их в своих записках.

Воздух стал очень тяжелым, и мы снова могли себя спасти только тем, что выпустили часть кислорода. Как ни странно, мы все были очень голодны—я бы сказал, что мы испытывали волчий голод,—и мы набрались на консервы тушеного мяса с хлебом и маслом, предусмотрительно запасенные Маракотом, и запивали их виски и водой. Эта закуска усилила мою способность восприятия и я сидел у моего наблюдательного пункта и мечтал о последней папироске. Вдруг глаза мои заметили нечто, родившее в моем мозгу водоворот странных мыслей и недоумений.

Я уже сказал, что серая равнина по обе стороны от нас была усеяна чем-то вроде маленьких пригорков. Перед моим иллюминатором находилась одна особенно большая горка, и я смотрел на нее с расстояния футов в тридцать. На этой горке был какой-то странный знак, и, когда я стал смотреть дальше, я увидел, что знак этот повторялся снова и снова, пока не исчез за изгибом. Когда человек так близок к смерти, нужно очень многое, чтобы взволноваться чем-нибудь, имеющим связь с миром, но на мгновение дыхание мое прервалось и сердце остановилось, когда я вдруг понял, что смотрю на фриз. Этот фриз был и грубо высечен, и источен, но, несомненно, что эти стертые узоры были когда-то сделаны человеческой рукой. Маракот и Скэнлан собрались у моего иллюминатора и в полнейшем недоумении широко раскрытыми глазами смотрели на эти признаки вездесущей деятельности человека.

— Да, ведь, это же резьба! — воскликнул Скэнлан.—Эта штука, верно, была крышей какого-то строения. Тогда и те вон—тоже строения. Послушайте-ка, хозяин, мы хлопнулись прямо на настоящий город.

— Это, действительно, настоящий город, — сказал Маракот. — Геология учит, что моря когда-то были мате-

риками, и материка — морями, но я всегда недоверчиво относился к мысли, что в такие близкие времена, как четвертичный период, могло произойти оседание Атлантики. Сообщение Платона про египетскую болтовню имело бы тогда фактическое основание. Эти вулканические образования подтверждают точку зрения, что это оседание являлось следствием сейсмической деятельности.

— В этих зданиях есть известная правильность,— заметил я.— Я начинаю думать, что это не отдельные дома, но что это куполы, образующие украшения крыши какого-нибудь огромного здания.

— А, пожалуй, вы правы,— сказал Сканлан.— Тут четыре больших по углам и маленькие рядами между ними. Это какое-то здание, если бы мы могли увидеть его все целиком! Можно было бы запрятать в него все Мэрибенкские заводы, да и еще что-нибудь.

— Оно погребено до крыши из-за постоянного капания сверху,— сказал Маракот.— С другой стороны, оно не разрушилось. Мы имеем в больших глубинах постоянную температуру, немного выше 32° по Фаренгейту, которая должна задерживать процесс разрушения. Даже разложение морских трупов, которые покрывают дно океана и неожиданно дают нам это освещение, представляет собою очень медленный процесс. Но, боже мой! Эти знаки не фриз, а надпись.

Не могло быть сомнения, что он прав. Тот же самый символ повторялся то тут, то там. Эти знаки, несомненно, были буквами какого-то древнего алфавита.

— Я изучал финикийские древности, и в этих буквах, конечно, есть что-то знакомое и напоминающее мне нечто,— сказал наш руководитель. Что-ж, друзья мои, мы увидели погребенный древний город и уносим с собой в могилу чудесное знание. Больше нечего изучать. Книга нашего познания закрыта. Я согласен с вами, что чем скорее придет конец, тем лучше.

Теперь уж конец нельзя было отодвинуть на долгое время. Воздух был

тяжел и ужасен. Он был отягощен углеродом, и кислород едва мог пробить себе выход, так велико было давление. Стоя на диване, можно было получить глоток более чистого воздуха, но удушливые испарения понемногу поднимались кверху.

Профессор Маракот с видом покорности сложил на груди руки и опустил голову на грудь. Газ уже одолел Сканлана и он лежал на полу. У меня у самого кружилась голова и я ощущал невыносимую тяжесть в груди. Я закрыл глаза и чувства стали быстро меня покидать. Потом я раскрыл глаза, чтобы в последний раз взглянуть на мир, из которого я уходил, и тут я вскочил на ноги с хриплым криком удивления.

Через иллюминатор к нам заглядывало человеческое лицо.

Был ли это мой бред? Я схватил за плечо Маракота и сильно потряс его. Он выпрямился и онемел, пораженный этим видением. Если он видел его так же хорошо, как и я, то оно не было игрой воображения. Лицо в иллюминаторе было длинное и худощавое, смуглое, с короткой, заостренной бородкой, и два живых, черных глаза устремляли туда и сюда быстрые вопросительные взгляды, охватывавшие и нас, и все кругом. На лице человека было выражение величайшего удивления. Все наши огни были теперь зажжены, и в этой комнате Смерти его взглядам представилась, вероятно, действительно странная и живая картина. Один человек лежал без чувства, а два других сверкали на него глазами. Лица их были судорожно искажены, как у умирающих от удушья людей. Мы оба держали руки у горла и наши тяжело поднимающиеся груди говорили о нашем отчаянии. Человек сделал движение рукой и поспешно удалился.

— Он бросил нас! — воскликнул Маракот.

— Или пошел за помощью. Давайте поднимем Сканлана на диван. Там, внизу, для него смерть.

Мы втащили механика на диван и подняли голову на подушки. Лицо

его посерело и он бормотал в бреду, но пульс его все еще был одутим.

— Для нас еще есть надежда,— прохрипел я.

— Но, ведь, это безумие! — воскликнул Маракот.— Как может человек жить на дне океана? Как он может дышать? Это коллективная галлюцинация. Мой молодой друг, мы сходим сума.

рили. В толпе было несколько женщин, но больше было мужчин. Один из них, — внушительная фигура с очень большой головой и густой черной бородой, — был, совершенно очевидно — человек, пользующийся авторитетом... Он быстро оглядел нашу стальную оболочку и, так как основание ее выдавалось над местом, на котором мы осели, то он мог уви-



На дне океана через иллюминатор к нам заглядывало человеческое лицо.

Глядя в иллюминатор на безнадежный, пустынный, серый пейзаж в печальном призрачном свете, я почувствовал, что Маракот мог быть прав.

Потом я вдруг заметил движение. В далеких водах мелькали тени. Они уплотнились и сгустились в движущиеся фигуры. Толпа народа спешила по дну океана, направляясь к нам. Минуту спустя они собрались перед иллюминатором и указывали на нас, и жестикулировали, и оживленно спо-

деть, что в дне ее находился запертый люк. Человек теперь послал назад гонца, а нам стал делать энергичные и повелительные жесты, чтобы мы открыли дверь изнутри.

— Почему не открыть? — спросил я.— Нам все равно, — потонуть или задохнуться. Я не выдержу так больше.

— Мы можем и не потонуть, — сказал Маракот. Вода, проникая снизу, не может подняться выше уровня сжатого воздуха.— Дайте Сканлану водки.

Надо, чтобы он сделал усилие, даже если оно и будет последним.

Я влил механику в рот водки, он глотнул и огляделся удивленными глазами. Мы оба подняли его на ноги на диване и стояли по обе его стороны. Он еще был в полубессознательном состоянии, но я объяснил ему в нескольких словах наше положение.

— Есть возможность отравления хлором, если вода достигнет батарей, — сказал Маракот. — Откройте все трубы с воздухом. Чем большего давления мы можем достигнуть, тем меньше войдет воды. Теперь помогите мне, когда я буду давить на рычаг.

Мы налегли всей нашей тяжестью и подняли круглую плиту со дна нашего маленького домика, хотя я при этом и чувствовал себя самоубийцей. Зеленая вода, сверкающая и блестящая под нашими огнями, стала вливаться, булькая и волнуясь. Она быстро поднялась до наших ног, до колен, до пояса, и тут остановилась. Но давление воздуха было невыносимо. В головах у нас шумело и барабанная перепонка готова была лопнуть. Долго мы не могли бы прожить в такой атмосфере. Только крепко хватаясь за сетки наверху, спасались мы от падения в воду под нами.

С высоты, на которой мы находились, мы уже не могли смотреть в иллюминаторы, не могли себе и представить, какие шаги предпринимались для нашего спасения. Действительно, мысль, что какая-нибудь настоящая помощь может притти к нам, казалась совершенно невозможной, и все же в этих людях была какая-то сила и уверенность в себе. Особенно это чувствовалось в их широкоплечем, бородатом предводителе, и это внушало смутные надежды. Вдруг мы заметили его лицо, глядящее на нас сверху сквозь воду и, мгновение спустя, он прошел через круглое отверстие и вскарабкался на диван, так что стоял теперь рядом с нами. Это была короткая, приземистая фигура, не выше моего плеча. Он осматривал нас большими, темными глазами, в которых было выражение какой-то веселой самоуверенности, как бы говорившее:

— Бедняги! Вы думаете, что попали в очень плохое положение, но я то отлично вижу выход из него.

Я только теперь заметил очень странную вещь. На человеке, — если он только был такое же человеческое существо, как и мы, — была надета прозрачная оболочка, закрывавшая его голову и тело, оставляя свободными руки и ноги. Оболочка эта была так прозрачна, что никто не мог ее разглядеть в воде, но теперь, когда он был в воздухе, рядом с нами, она блестела, точно серебро, оставаясь прозрачной, как тончайшее стекло. На каждом плече внутри защитного футляра у него было странное закругленное возвышение. Оно было похоже на продолговатую коробку со множеством отверстий в ней и придавало человеку такой вид, точно на нем были эполеты.

Когда наш новый знакомый присоединился к нам, в отверстии внизу появилось лицо другого человека, который бросил нам нечто, похожее на большой стеклянный пузырь. Три таких пузыря, один за другим, были поданы через отверстие и плавали на поверхности воды. Потом наверх были переданы шесть небольших коробок, и наш новый знакомый, приделанными к коробкам ремнями прикрепил их по одной к каждому нашему плечу, и наши плечи стали теперь выше, как и у него. Я уже начал предполагать, что в жизни этих странных людей не было нарушений естественных законов и что тогда, как одна коробка производила по какому-то новому способу воздух, другая поглощала отработанный. Человек надел нам теперь через головы прозрачные одеяния и мы почувствовали, что они крепко охватили нас в верхней части рук и на поясе эластичными перевязками, так что вода не могла проникнуть через них. Внутри мы дышали совершенно легко, и для меня было радостью видеть, как Маракот смотрел на меня из-за этой оболочки, поблескивая глазами, как в былые дни из-за очков, а широкая улыбка Били Скэнлана успокоила меня, что кислород сделал свое дело.



Мы стояли совершенно невредимые на дне пятимильной водной бездны.

Наш спаситель смотрел со спокойным удовлетворением то на одного, то на другого из нас, и потом сделал нам знак следовать за ним через люк на дно океана. С дюжину услужливых рук протянулось, чтобы поддержать наши первые неверные шаги, в топкой тине.

Даже теперь я не могу не поражаться этому чуду! Мы стояли все трое, совершенно невредимые, и отлично себя чувствовали на дне пятимильной водной бездны. Где было это ужасающее давление, питавшее воображение такого множества ученых? На нас оно действовало не больше, чем на изящных рыбок, реющих вокруг нас. Правда, насколько это казалось части наших тел, мы были

защищены этими тонкими стеклянными колоколами, которые на самом деле были прочнее самой крепкой стали, но даже наши члены, которые были открыты, чувствовали не больше, чем крепкий хват воды, на который со временем привыкали не обращать внимания. Было так странно стоять всем вместе и смотреть назад на оболочку, из которой мы вышли. Электрические батареи мы оставили в действии и клетка наша казалась такой удивительной с потоками желтого света, изливавшегося с каждой из ее сторон.

Предводитель взял Маракота за руку и мы со Сканланом последовали за ними обоими через водяную топь, с трудом передвигая ноги по властой поверхности.

Продолжение в Январской книжке „Мира Приключений“

ПОСЛЕЗАВТРА ЧЕЛОВЕКА

Очерк доцента С. В. ГОЛЬДБЕРГА

В предыдущем очерке (см. Ноябрьскую книжку «Мира Приключений») с достаточной наглядностью была нарисована картина блестящей и заманчивой будущности «Человечества».

Научные фантазии, лабораторные опыты вчерашнего дня выливаются в техническую проблему сегодня, осуществляются завтра, а послезавтра — мечты и чаяния поэтов, надежды ученых и вождей человечества превращаются в реальные формы, прогресс которых бесконечен.

Невольно напрашивается при этом вопрос: а что же будет с самим человеком, что будет послезавтра с гордым „ *homo sapiens* “—вендом природы? Какие формы примет его личная жизнь в условиях новой среды, столь богатой техническими возможностями? Охватить такую широкую тему со всех сторон, конечно, невозможно. Взглянем на этот вопрос с точки зрения медицины сегодняшнего дня и проследим за человеком от его первых дней до его последнего пути.

Учение Дарвина, революционизировавшее мысль человека, в первое время ничего практического не обещало. После многовековой борьбы за существование человек застыл в своих великолепных формах, неподвижный в своем биологическом целом. «Исторический человек» неизменен, по данным современной науки.

МОДИФИКАЦИИ И МУТАЦИИ

Но та же наука вслед за Дарвином в лице Менделя и де-Фриза показала, что в природе происходит не только медленный процесс эволюции, но и скачки—«модификации и мутации» и, если даже со всей научной строгостью отличать признаки наследственные и ненаследственные, то все же нужно и у человека признать и «модификации», и «мутации».

Ясно, что условия питания и многое другое из внешней среды имеет громадное значение не только для растений и животных, но и для человека.

Авторитетные ученые утверждают, что дети, рожденные от европейских родителей, в Америке растут сильнее и ярче. На большом опыте мировой войны мы узнаем и обратное влияние—голода на уменьшение роста детей в Германии и России.

Известно также, что дети европейцев, рожденные в Америке, меняют черты своего лица и принимают американский тип. Это объясняется американской манерой гово-



рить при мало открытом рте, при чем мускулатура лица движется иначе, а это отражается на костной пластике лица, а кости, как известно, модулируются под влиянием мускульной тяги.

Один американский ученый утверждает, что даже форма черепа изменяется у европейских эмигрантов.

У человека наблюдаются и другие модификации, происходящие от других факторов, но они не так хорошо систематизированы, как врачебные наблюдения на почве разных заболеваний.

Мы знаем, например, влияние зоба на человеческий организм, и целый ряд других заболеваний «внутри-секреторных» органов, искажающих рост, питание и психику человека. Вспомним внешность кастратов, огромные челюсти и конечности людей с болезнью мозгового придатка, карликов и идютов с атрофией щитовидной железы.

Но вот особенно интересные факты. Инфекционные болезни оставляют после себя изменения иммунитета, т. е. сопротивляемости организма, часто в смысле усиления этой способности. Детский возраст характеризуется предрасположением к ангинам, скарлатине, дифтериту. С годами,



благодаря привычке к слабому яду, у взрослых устанавливается иммунитет к этим болезням.

ОСЛАБЛЕНИЕ СИЛЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Естественно является вопрос: не могут ли эти приобретенные качества сделаться наследственными или, во всяком случае, иметь какое-нибудь влияние на наследственность? Для сифилиса, туберкулеза, оспы и кори это доказано. На Фароских островах, где раньше не было кори, занесенная инфекция вызывает опустошения среди населения. Туберкулез, к которому привыкло европейское население, вызывает среди кафров Африки или туркменів Средней

Азии самые жестокие формы болезни. Сифилис, в конце XV века завезенный в Европу, вызывал настоящую бурную эпидемию. К этим фактам можно присоединить еще и доказанный переход противоядий (анти-токсинав) от матери к ребенку и несомненное ослабление и дегенерирование бактерий при прохождении их через человека.

Пока, конечно, строго научно нельзя говорить о возможности получения на этом пути новых резистентных (способных к сопротивлению) генераций людей, но, во всяком случае, доказано, что инфекционные возбудители меняются в борьбе с человеком. Не будем множить таких примеров — вывод ясен: и среди приобретенных свойств кое-что передается по наследству.

Но вот более важный вопрос. Подвергается ли человек мутациям?

Такая возможность для человека должна быть признана не только с широкой биоло-

гической точки зрения, но и с более узкой — врачебной. Происхождение отдельных рас биологи не могут объяснить иначе, как внезапными скачками — мутациями. За это говорит и постоянство наследственных признаков, и географическое распространение, и отсутствие промежуточных форм.

Врачебная же наука собрала множество ценных наблюдений, прослеженных столетиями, где определенные болезни с неизменной законностью передавались по наследству по типу биологических мутаций. Таковы — гемофилия (кровоточивость), хлороз (бледная немочь), дальтонизм (слепота на красный или зеленый цвета), некоторые уродства. Затем доказано, путем наблюдения смешанных браков, изучения генеалогических таблиц истории отдельных родов, что у человека существует наследственность отдельных признаков, отдельных способностей, наследственность талантов, наследственность гениальности. Все то, что изучено в области наследственности у растений и животных — с большей или меньшей ясностью может быть отнесено и к человеку.

ЗАКОН НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ЕВГЕНИКА

Человек давно извлек выгоду из искусства отбора растений и животных. Прогресс человечества был бы немисли без применения законов наследственности в сельском хозяйстве.

Что же задерживает практическое применение этих законов к человеку? Ничто! Особенно ничто в условиях послезавтрашнего дня.

Пионер пропаганды этих идей, племянник самого Дарвина — Фрэнсис Гальтон еще в конце прошлого века образовал научное общество изучения законов наследственности у человека. Теперь пропаганда эта превратилась в насущное требование нашего времени и уже имеет серьезное практическое значение. В Америке широко учтены перспективы отбора человеческих особей и в положительном, и в отрицательном смысле.

У нас также уже кое-что сделано. В Москве, по инициативе проф. Кольцова, создано «Русское Евгеническое Общество», которое издает «Русский Евгенический журнал». В Ленинграде при Академии Наук организовано «Бюро по евгенике» и можно смело сказать, что это — сегодня, а завтра и послезавтра — это дело расцветет у нас в стране, как может быть нигде.

Ни одна страна в мире не делает столько для практического развития идей дарвинизма, как наша, и наше «сегодня», и наше «завтра» обеспечивает развитию этих идей самую широкую арену. Нигде общественная социалистическая евгеника не имеет столько шансов на широкое развитие, как у нас.

Итак, на первом же своем этапе человек послезавтрашнего дня использует плоды трудов ученых биологов, он родится под знаком евгенизма.

Родители его серьезно задумаются не только над его физической судьбой, но и над особенностями его духа. Послезавтра не должен родиться, не может родиться ни физический, ни нравственный урод.

Рождение ребенка будет — не дар случайный, дар напрасный, это явится результатом творчества человека, торжеством человека над силами природы.

У КОЛЫБЕЛИ

У колыбели ребенка послезавтрашнего дня будет стоять не старая фея — милая фея наших сказок с волшебным жезлом, а новая фея — Евгеника — ученая девица, благословляющая новорожденного с портфелем в руках, где хранятся акты о рождении его высокоталантливых предков.

Человек послезавтрашнего дня не успеет открыть глаз, а «Профилактика» — добрая няня его детских дней — уже сторожит его сон.

Ни одна медицинская дисциплина не сделала столько успехов, как учение о детских болезнях. Это она — педиатрия — раскрыла нам глаза на питание, рост, развитие тела и духа будущего человека. Будущий человек не будет знать жестоких пеленаний детских болезней, тягостных несварений желудка от нелевой пищи наших дней. Учение о питании, о воспитании детей, неудержимо разбухающее, даст, наконец, ожидаемые плоды. Психоаналитические лаборатории будут изучать духовные способности ребенка, его тело и взвешивать его мозг, а ребенок будет всему этому ласково покоряться. Не останется места для нервной переутомляемости, не будет и невыносимых вундеркиндов, а будет только здоровые, веселые дети!

КУЛЬТ ДЕТСТВА

«Охрана детства и материнства» нашего сегодня превращается в «Культ детства» завтра. Уже ведь и в наше время «затихает в Париже бег автомобилей, когда сервант за руку ведет ребенка через улицу».

Питание наше резко изменяется и сегодня. Биология и химия разрабатывают вопросы питания в таком темпе, что не трудно уже и сейчас представить себе эти удивительные коллоидальные смеси, где все наши представления о живом и мертвом белке, витаминах и авитаминах явятся анахронизмами. Но как это питание отразится на детях будущего, об этом лучше всего судить врачам, которые только вчера и сегодня узнают о своих прегрешениях, наконец стоят у порога разгадки природы рахита, подагры, ожирения, сахарной болезни, отравлений организма кишечным содержанием.

Посмотрите на наш рисунок — фантазию художника. В таких домах будут жить наши дети под крышами из стекла, пропускающими ионы и катионы солнца. Послезавтра пища детей будет ионизиро-

ваться жизненной энергией прямо под лучами солнца.

Еще вчера врач Р о л л и е показал живительное влияние солнца, а сегодня наша страна вся покрыта санаториями под солнцем. Но как трудно добыть это солнце в условиях нашего быта. Где это солнце для жителей Мурманска, для темных улуд и темных домов? Солнце будет дано искусственно и днем, и ночью. Счастливые дети послезавтрашнего дня будут посещать музеи быта наших дней, как мы музеи каменного века.

ТРУД И СОН

Бодрый духом новый человек, сильный и мускулистый, как греческий бог, будет ли он доволен восьмичасовым днем—радостью труда? Будет ли он по нашему примеру стремиться к его сокращению? Наверное нет. Захочет ли он проспать одну треть своей жизни, почти 20 лет из своего жизненного пайка? Нет. Медицина будущего изучит токсины утомления, кинотоксины сна. Антитоксин бодрости будет в распоряжении будущего человека. Наблюдения над гениальными лицами показывают, что они спят сравнительно мало. Мозг одаренного человека—уже сам по себе совершеннейший прибор. Что же будет, когда евгенически созданным людям станут доступны волшебные склянки,—результаты трудов врачей и биологов над изучением сна.

Если позволено думать, что детство будущего человека будет прекрасное, то все же нужно допустить, что дальнейшее существование его не пройдет без трений. Трудно предполагать, что под влиянием техники и материальной культуры исчезнут все трения на пути человека. Наука не дает пока никаких оснований допустить резких изменений внешней среды на нашей планете. Человек осужден и на болезни, и на травмы, и на старение.

В оное время против стихий человек мог противопоставить лишь собственную стигийную мощь, послезавтра он противопоставит опыт поколений, накопленные знания. Кое-кто может быть и не будет доволен своими родителями и пожелает дополнительно исправить оплошности и неточности евгенического аппарата.

БОЛЕЗНИ БУДУЩЕГО

Из внешних инфекций многие исчезнут вовсе, многие подчинятся уму человека. Но зато много внешних препятствий возникнет только завтра и послезавтра. Нет оснований думать, что не появится п о с л е з а в т р а бактериальных инфекций столь же сильных, как вспышки «сонной болезни» вчерашнего дня, как ураган стихийных бедствий в Японии и Америке. Но человек встретит эти несчастья в таком вооружении врачебной техники, как не мечтается сейчас. К этому времени наверное будет найдено надежное противоядие против сифилиса и туберкулеза, против проказы. Пути уже открыты. Малярия будет побеждена инженерной техникой и химиче-

скими знаниями, та же участь постигнет и другие тропические болезни. Ведь весь земной материк будет доступен человеку.

МЕДИЦИНА ПОСЛЕЗАВТРА

Будут ли существовать другие болезни?

Рак, последний упорнейший бич человека, 20% жертв которого населяют все человеческие кладбища, утратит свое упорство. Если слабые потоки электрической энергии в наших рентгеновских трубках иногда в доступных местах одерживают победу, то какой может быть пессимизм, когда новый человек, Прометей завтрашнего дня, снова похитит вечное пламя богов.

Успехи хирургии всем известны. Уже и теперь нож хирурга искоренил многие болезни. Уже сегодня смертность от аппендицита равна не более 1% заболеваний, смертность от камней печени—не более 5—7%, от поражений желудка и кишек упала более, чем на две трети. Даже некоторые формы рака можно оперировать без рецидива. Нервная хирургия делает большие успехи, а пластика достигла такой художественной отчетливости, что уже сегодня имеется плеяда хирургов, работающих на красоту человека. Завтра будут побеждены кое-какие технические трудности и после завтра настанет настоящий праздник и торжество пластических пересадок внутренних органов хирургами. Человек послезавтрашнего дня будет хозяином своей конституции, своей наружности. Художник хирург будет творить живой портрет.

ДОЛГОЛЕТИЕ И СТАРОСТЬ

Но как отнесется человек будущего к вопросу о старости?

Жизнь в природе никогда не прекращается. Инстинкт человека никогда не примирится с мыслью о смерти. Страх смерти будет, вероятно, также доведет над человеком, как и ныне. И, во всяком случае, стремление к долголетию будет такой же жадной будущего, как и настоящего человека.

Но нет никаких оснований думать, чтобы он на этом пути не достиг весьма многого.

Долголетие, прежде всего, если оно будет признано абсолютным благом, возможно искусственно культивировать, как определенное свойство, передаваемое по наследству. Качество это в животном эксперименте поддается накаливанию и «менделеризованию». Существуют семьи и целые роды, где долголетие наследуется, как родовой признак. В культурных, богатых странах люди живут вообще дольше. В благоприятной среде такое свойство отдельных семей и родов может только укрепиться.

Гениальный К а р р е л ь показал, что отдельные клетки человеческого зародыша в пробирке могут расти 15 лет, если постоянно обновлять питательную среду, в которой они живут. Жизнь клетки теоретически бесконечна. Нервная система и секреторные органы охраняют и сдерживают

энергию живого организма. У человека кроме того огромную роль играют сердце и сосуды. Старение их—склероз—происходит от нарушения химического обмена веществ. Все это теперь стало известно.

Уже сегодня многое пущено в ход для восстановления стареющего организма. Возможно, что старение сосудов подчинено работе надпочечных желез и что отсюда нужно начать работу по омолаживанию.

Классические опыты Штейнаха с половыми железами укрепили идеи Броун Секара о значении половых желез для жизнеспособности нашего организма. Но это только экспериментальный этап, лабораторный опыт. Никакого научного разочарования не вносят первые неудачи применения опытов Штейнаха или Воронова непосредственно у человека. Может быть завтра и послезавтра пересадка половых желез будет такой же простой операцией и превратится в такую же техническую возможность, как перелет через Атлантический океан.

МЫ БУДЕМ МОЛОДЫМИ!

Человек научится регулировать энергию изнашивания своих органов и тканей, научится комбинировать соки своих желез, в нужное время небольшими операциями или химическими препаратами восстановить утраты.

Долголетие делается таким же свойством человеческого тела, как долголетие дуба или слона, которые от рода (ex ovo) живут долго, для которых внешняя среда не помеха, а опора.

Появится ли на смену страха смерти инстинкт смерти, желание смерти, как думают некоторые,—сказать сегодня невозможно.

Но это на-завтра и не нужно. Нужно быть здоровым, жизнерадостным в каждом возрасте, в каждую эпоху нашей жизни. А это будет. Мы будем чувствовать себя молодыми и бодрыми всю жизнь. Это достигнимо. Мы будем молодыми!

УПРАВЛЕНИЕ МОЗГОВОЙ МАШИНОЙ

Но это все проблемы тела, как будет с человеческим духом, что будет с психикой человека?

Знакомы ли вы с работами гениального русского физиолога И. П. Павлова? Прочтите его труд о работе мозга. Сложная мозаика мозговых клеток работает, как сложный механизм. Работа мозговых клеток подчиняется строгим законам, мерилом которых является рефлекс, изучаемый с объективной ясностью. Нарушается во внешнем раздражителе ритм или мера и растривается работа полушарий, появляется то раздражение, то подавление—торможение. Мозговое раздражение законообразно переходит в свою противоположность—в сон, в гипноз.

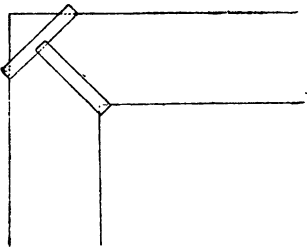
Работа Павлова заинтересовала весь мир. Это первый физиологический путь решений психологических задач.

Сегодня, да сегодня, в декабре 1927 г. в Ленинграде собирается первый съезд по вопросам рефлексологии. Завтра ученые соберут большой опыт, огромные знания, а человек послезавтра использует эти знания, он будет уметь управлять своей мозговой машиной, если не как авиатор, то во всяком случае, как объективный, спокойный философ, достойный заместитель своих предшественников.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

Задача № 67.

Доски были положены на углу, как показано на рисунке.



Задача № 68.

Решение очень простое и не требующее хитроумных вычислений. В самом деле при одинаковой скорости в 5 километров, оба пешехода встретятся на середине дороги после трех часов пути. В продолжение этого времени велосипедист едет со скоростью 10 километров в час,—значит всего он проедет 30 километров.

1-2-3-4-5

Очерк Т. Д. ПАВЛОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Помещаемый здесь очерк, под интересной фантастической оболочкой — раскрытия таинственной древней мудрости, заключает современную любопытную и совершенно практическую мысль: выразить при посредстве пятиэлементного алфавита, даже при помощи первых пяти диффр, все богатство человеческих знаний и чувствований.

Старую-старую задачу всех народов и всех эпох человеческой культуры — возможно простой алфавит — автор, известный изобретатель, решает, как человек нового времени: он сконструировал для более быстрого и легкого применения его алфавита двух типов карманные, всего только пятиклавишные, пишущие машинки.

Автор рассказа — Т. Д. Павлов, по основной профессии — инженер, специалист в области гидрометрии, много поработал в тяжелые годы разрухи и гражданской войны в качестве техника, администратора, инструктора и изобретателя на самых разнообразных поприщах.

Предложим нам ознакомить читателей с его изобретением, в свое время запатентованным. Т. Д. Павлов считает опубликование его особенно полезным именно теперь, когда поднят вопрос о новой реформе нашего правописания. Такой непосредственной связи мы не видим. Может быть, впрочем, специалистов идеи Т. Д. Павлова и натолкнут на какие-нибудь мысли. Мы смотрим на двадцатилетний труд изобретателя из другого угла, и думаем, что он сказал свое — может быть очень большое — слово, во-время, безотглаголательно к тем или иным переменам в русском правописании.

Сейчас во всем мире, конечно и у нас, кроме политической и социальной, происходит еще одна революция — бескровная, но всеобъемлющая. Ее основные элементы — человеческая мысль и чувствования, ее движущие силы — наука и искусство во всем их разнообразии. Никогда еще человечество не стояло так близко, лицом к лицу, с великой задачей наиболее простой, быстрой и интенсивной передачи мыслей и чувствований от одного к другому и к массе. И ученый биолог, и невропатолог, и радио-инженер, и театральный режиссер — все, каждый в своей области, стремятся к возможно полному разрешению своей доли задачи, образующей в целом — сближение и единение человечества. И все искания новых путей и форм, — это частицы одной и той же основной задачи: яркого, полного, проникновенного осознания и общения.

Революция не может захватывать краешком, итти стороной. Она заполняет все, она прокладывает новые пути и отовсюду берет свою пищу и энергию.

Вот маленький пример. Музыка и ее изучение... Казалось бы, нет более консервативно-стойкого искусства. Но все ли знают, что в этой области произошла революция и сейчас есть новая система, использовавшая (может быть отчасти бессознательно?) новейшие достижения био-психологии. При этой системе пианист и скрипач не нуждаются в механических шестисоставных ежедневных упражнениях. Они думают и погружаются в звуки, а затем подсознательно достигают виртуозной техники, даже не одаренные блестящими дарованиями. Руки их точно впиваются в себя волевые импульсы и механически отчетливо, но как живые, разумные и самостоятельные органы, исполняют незримые веления мозга.

Вот с этой-то стороны, может быть вопреки автору, нам и кажется особенно интересной работа Т. Д. Павлова.

Мы видим в ней три части, три задачи: 1) записать автоматически и быстро всегда ускользающую мысль, требующую теперь для своего выражения технически сложных и трудных путей; 2) легко передать другим свои мысли (пятиэлементный алфавит); 3) использовать систему для применения к животным. Автор сообщает, что такие опыты он делал со своей собакой.

Очерк Т. Д. Павлова мы помещаем в отделе «От Фантазии к Науке». Здесь — его законное место, так как в своем нынешнем изложении очерк стоит именно на грани этих двух великих человеческих путей.

ВОСПРИЯТИЕ ОЩУЩЕНИЙ

На свете все просто, даже то, что кажется фантастичным и чудесным.

Способность читать мысли — проста и свойственна каждому из нас, нужно только развить ее.

У каждого из нас есть совершенно необъяснимые симпатии и антипатии. Наши поступки иногда подчиняются не рассудку, а какому-то непонятному инстинкту. Иной

раз приходят в голову замечательные мысли, совершенно, казалось бы, несвойственные, а иногда случается, что во сне получается ответ на то, что никак не решалось наяву, несмотря на крайнее напряжение умственных способностей. Все это непонятное, необъяснимое, чудесное, на самом деле объясняется крайне просто тем, что у человека два «я». Одно — то, которое проявляется в его сознании, а другое — так называемое подсознательное. Первое образует тему

впечатлениями, которые человек испытывает при помощи специальных органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, а второе «я», подсознательное — результат впечатлений, получаемых всем остальным неспециализированным существом человека. Если человек видит что-нибудь, то это значит, что на его орган зрения — глаз — подействовало что-то, находящееся «в поле зрения» этого органа, а все остальное, не попавшее в это «поле», человек не видит глазом, но оно, все-таки, действует на него так же, как и на глаз, и человек видит это «нечто» теми неспециализированными частями тела, которые это воздействие испытывают.

Точно так же человек чувствует вкус не только того, что ему попадает на язык, но и всего, что вокруг его находится. Он слышит не только ушами и обоняет не только носом. Все эти чувства, как разновидности осязания, присущи всему его телу, каждой частичке его. Все эти внешние воздействия производят в человеческом организме такие же реакции, процессы, как и те, которые воспринимаются специальными органами, дают также свои выводы и результаты. Разница только в том, что первые для своей регистрации, обработки и дальнейшего развития, обобщения и использования имеют специальный орган — мозг, со множеством специализированных центров сознания, ощущения же всего остального тела в этот орган попадают только путем косвенного воздействия на внутренние, вторичные органы чувств.

Все эти ощущения неспециализированных органов восприятия дают то, что называется «шестым» чувством человека, — интуицией, которая является простой, естественной причиной всего чудесного, так называемого «сверхъестественного» в нас и для нас.

Грамотными могут быть все шесть человеческих чувств.

Кроме механических воздействий осязание чувствует также и тепловые. Разницу в пять градусов, например, ясно чувствует каждая частичка нормальных кожных покровов в человеке.

АЛФАВИТЫ ПРИРОДЫ

Движение четырех конечностей и головы, или движение одной конечности по кругу и четырем несмешиваемым направлениям, как, например, виляние хвоста собаки дает алфавит для разговора человека с животным. Какой-нибудь дрессированный пудель, познакомившись с человеческим языком, может не только рассказать о своих собачьих приключениях, но и научить человека собачьему языку, который несомненно существует, как и муравьиный, пчелиный, обезьяний, воробьиный и т. д.

Белое, голубое, красное, желтое, черное — что они теперь могут сказать сознанию человека сами по себе?.. А при цветовом, алфавите для сознания человека откроется новый неведомый дотоле мир, и красота окраски заговорит не только для эмоции,

для бессознательного чувства, но и для разума человека.

Ноты: до, ре, ми, ля, си; голоса: дискант, альт, тенор, баритон, бас; роды звуков: крик, свист, шум, звон, удар — их человек теперь только чувствует, но не понимает, а в них ведь тоже алфавит пяти основ при помощи которых в гармонии звуков человек найдет нечто, для него теперь совершенно не существующее.

Кислое, соленое, пресное, горькое, сладкое — тут опять пятносовой алфавит для чувства вкуса, которое может быть так же грамотным, как и тончайшее из человеческих чувств — обоняние, в миллионных долях грамма несмешивающих запахов гвоздики, жасмина, камфоры, герани и ванили.

Это чувство у человека развито гораздо хуже, чем у животных, но все-таки есть лица, знающие, что дурные мысли дурно пахнут.

Говорить и понимать речь могут все чувства человека, и, ограничившись только звуковой речью, человек лишает себя возможности войти в общение со всем, что есть, понимать все, что его окружает, что говорит всем его чувствам.

Разница между чувством и сознанием лишь в неуменьи понимать...

Чтение мыслей, «мысли вслух», вам кажутся чем-то чудесным, между тем они так же просты, как все, и научиться ими вы можете, сделав ваши пальцы грамотными.

ОТКРЫТИЕ ПРОФ. МАРЕЯ

Лет тридцать тому назад физиолог профессор Марей, обогативший науку уже одним своим барабаном для записи движений сердца, из своих наблюдений сделал вывод, что рука человека, умеющего писать, всегда пишет, потому что, выражая своим движением одну мысль, она не может отказывать в этом всем другим мыслям, только эти пишущие движения, но усиленные велениями сознания и воли, очень медки и выражаются в виде дрожи. Чтобы проверить себя, он к обыкновенному пантографу, для увеличения рисунков, под его рисующий штифт подставил бумажную ленту, движимую часовым механизмом, на манер телеграфной ленты, с определенной скоростью. И такое простое приспособление сделало самый обыкновенный пантограф мыслеловом. Писатели и художники, которым профессор Марей давал держать ручку обводящего штифта пантографа, были крайне поражены, видя, что прибор пишет и рисует то, что они думали, но без всякого участия их воли и сознания. Таким образом на опыте была доказана возможность автоматической записи мысли, но практического применения мыслелов профессор Марей получить не мог, потому что при записи букв рука пишущего делает обратные движения, а лента мыслелова движется всегда вперед. Такое встречное движение искажает начертания букв и при сложности этого начертания, рядом с ясно выписанными буквами, получаются каракули и мазня.

МОИ МЫСЛЕЛОВ

По этим двум причинам пантограф-мыслелов профессора Марья пошел в музей нашей Академии Наук. Ознакомившись с ним, я решил заняться устранением тех недостатков, которые мешали правильности зарисовки движения пишущей мысли руки. Этого мне удалось достигнуть. В моем мыслелове рука не делает никаких обратных движений, и начертание букв предельно просто. Вся запись мысли сведена к короткому, мгновенному, поступательному движению кончиков пальцев, и потому всякая мысль, даже та, которая не удерживается сознанием, пишется моим мыслеловом. С его помощью может быть записан даже сон, так как и во сне, как на яву, грамотные пальцы ищут без всякого участия воли и сознания пишущего лица.

НЕМНОЖКО БЕЛЛЕТРИСТИКИ

Рассеянность — недостаток, свойственный большинству изобретателей, — имеется и у меня. Благодаря ей, я однажды с Николаевского моста свернул не направо, а на 3-ю линию Вас. Остр., где я живу, а налево, на шестую, и очутился только против Бугского переулка. Пришлось свернуть направо уже по этому переулку и пройти по барахолке Андреевского рынка, будучи вожделем барахольщиков, во что бы то ни стало желающих всучить кому-нибудь свой никуда непригодный товар. Один из таких продавцов без всякой церемонии ухватил за руки, а другую руку с чем-то суем, мне под самый нос со словами: «купишь, што ли?!».. Сначала я даже не понял, зачем меня остановили и что мне говорят, а когда понял, то отрицательно мотнул головой и хотел идти дальше. Но продавец это не обескуражило и он, держа меня за руки, продолжал бубнить: «купи... даром, ведь, отдаю»... Я совсем бессознательно взял вещь в руку и спросил: «сколько»? И также бессознательно уплатил рубль, опустил покупку в карман, а, придя домой, невнимательно бросил ее на письменный стол¹⁾.

Там она пролежала довольно долго, пока ее не извлек мой приятель, ичешший привычку во время разговора вертеть что-нибудь в руках. Это был человек ученый, замечательно красноречивый и увлекавшийся скифскими древностями. Говорил он на свою любимую тему, и я с удовольствием его слушал. Вдруг гладкая, увлекательная речь оборвалась, и я увидел своего приятеля с полуоткрытым ртом и глазами, устремленными на его левую руку, на которой лежала моя случайная покупка на барахолке. Лицо выражало чрезвычайную заинтересованность.

— Откуда у тебя это?

Я стал, было, отвечать на вопрос, но приятель был увлечен и, не слушая меня, шептал:

¹⁾ Эта странная вещь изображена на обложке «Мира Приключений».

— Ведь, это руны... Священные руны... руны-резы наших предков, скифов, о которых Геродот писал, что они могут разговаривать молча, касаясь пальцами пальцев... Вот она «вечная бирка» сибирских таежников, по зарубкам и крестикам на паке читающих как по книге... Вот он совершеннейший алфавит всего живого и мертвого в природе... великий тотем пяти основ...

На этом шовот моего приятеля оборвался, и он, сверкнув глазами, вскочил и, не прощаясь, убежал, унося поразившую его вещь.

Через три дня пришла жена приятеля, принесла мне мою покупку и сказала, что муж ее в буйном, у Николая Чудотворца, очень беспокойный и все время шепчет и кричит только одни и те же слова: «Сйфт, Брэмз, Вышнуп, хожд, Калг». Прибежав вечером от меня, он заперся и два дня никого в комнату не впускал и пищи не принимал. Пришлось войти силой, чему большой сопротивлялся, и бронзовым треугольником — моей покупкой — пробил голову жене, подошедшей к нему с уговорами. Пришлось заболевшего связать и отвезти в больницу, где его признали опасным.

Пожалевав приятеля и поглядев на пятна от крови на покупке, я спрятал ее уже в стол, чтобы не случилось опять какого-нибудь происшествия. Но в столе она пролежала недолго. Встретившись с одним знакомым, ученым санскритологом, тоже увлекавшимся старыми письменами, я шутливо предостерег его от увлечений и сказал, что один вот такой же любитель старей рухляди из увлекательно-красноречивого человека ввернулся в жалкое подобие его, знающее всего только пять слов: «Сйфт, брэмз, вышнуп, хожд, калг».

Произнесенные мною слова на собеседника произвели поразительное действие, и он каким-то сдавленным голосом ответил:

— А вы?.. Вы знаете, что вы сказали? Ведь, это древне-санскритская священная формула «сущности сущего». Это выражение пяти основ всего во всем. Эти пять слов значат: Сива Брама Вишну из Кали, т. е. жизнь из смерти, все из ничего, кто был ничем, тот станет всем. Это символические первый, второй, третий, четвертый, пятый углы «пентаграммы». Это пять лучей звезды, которая должна засиять над всем миром...

Тон и слова произвели на меня сильное впечатление, и я, вернувшись домой, достал свою покупку из стола и стал рассматривать ее со всем доступным для меня вниманием.

СИСТЕМА ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Мое тяготение к цифре сказалось и тут. Из всего сказанного санскритологом в моем мозгу ярче всего запечатлелись цифры: 1, 2, 3, 4, 5 и покрывали собой все. Долго ли я рассматривал треугольник, я не знаю, только я вдруг как бы прозрел. Там, где сначала я ничего осмысленного не видел, ничего не понимал, выявилась бездна смысла и мне стало ясно, что у меня в руках нечто, имеющее чрезвычайное значение.

Я увидел пять треугольников: большой, основной, бронзовый, жёлтый, на нем четыре малых: синий, белый, красный и чёрный. В центре треугольников, и основного жёлтого, и центрального, малого, белого, я увидел пять знаков: точка, линия, треугольник, четырёхугольник и круг. Вокруг этих пяти знаков, в квадратной рамке, другие пять знаков, элементы шитья в крестик, линии: вертикальная, наклонная вправо, горизонтальная, наклонная влево и круг. Вокруг квадратной рамки, в углах треугольника, еще три знака, из пяти элементов каждый. В правом — схема раздвинутых пальцев руки, поставленной так, что большой палец ее занимает вертикальное положение, а средний палец — горизонтальное. Тогда указательный палец будет изображать линию, наклонную вправо, а безымянный — линию, наклонную влево, т. е. эти четыре пальца повторят положение линий элементов шитья в крестик, показанное вторым, пятиэлементным, знаком, находящимся в центре треугольников. Круг же второго знака, на схеме пальцев, показан тоже кружком, являющимся символом меньшего из пальцев — мизинца.

На знаке — схеме пальцев — соответствующие им линии показаны цветами пятицветных треугольников. Большой палец — белой линией, указательный — синей, средний — красной, безымянный — желтой и мизинец — черным кружком¹⁾.

В левом углу центрального, белого треугольника — те же пять элементов знака, линии вертикальная, наклонная — вправо, горизонтальная, наклонная — влево, показаны точно так же и в той же последовательности, только одним неразрывным штрихом, круг же показан незаконченным, в виде крючка. В верхнем углу центрального треугольника находится тоже пятиэлементный знак, но иного вида. Тут как бы след двигающихся пяти пальцев, пять элементов в движении, пять параллельных линий, а на них следы остановки этих пяти пальцев, нажимы их, пять точек. Линии вертикальные — пальцы двигались или сверху вниз, или снизу вверх. Но и в том, и в другом случае, при нормальном положении человека и руки, большому пальцу должна соответствовать первая слева линия и точка. Указательному — вторая, среднему — третья, безымянному — четвертая, мизинцу — пятая.

Каждая сторона рамки основного жёлтого треугольника имеет пятицветные прямоугольники, разделенные по числу букв в формуле: «Сйфт, Брэмз, Вышнуп хожд Калг», на двадцать три части, в которых изображены двадцать три, соответствующих этим буквам, знака. В верхнем прямоугольнике показаны 23 цветовых бело-синекрасно-желто-черных буквознака. В правом,

пятицветном, прямоугольнике те же самые букво-знаки показаны геометрическим (точка, линия, треугольник, четырёхугольник и круг) пятиэлементным алфавитом. В левом, пятицветном, прямоугольнике — те же двадцать три буквы шитьевым (линии: вертикальная, наклонная вправо, горизонтальная, наклонная влево и круг) алфавитом.

В синем треугольнике показаны те же двадцать три буквы пятиэлементным знаком схемы пальцев руки (линии: вертикальная, наклонная — вправо, горизонтальная, наклонная — влево, кружок — (ни один элемент знака не соприкасается с другим)). В красном треугольнике, в тех же буквах, те же элементы соединены в один неразрывный штрих. Это — алфавит рукописный, стенографический. В черном треугольнике те же двадцать три буквы изображены в едином движении, слева направо, раздвинутых пальцев правой руки (пять параллельных горизонтальных линий) и следами их остановок, — нажимов, — точками.

СЕМЬ АЛФАВИТОВ

Таким образом на треугольнике оказалась формула: Сйфт, Брэмз, Вышнуп хожд Калг, написанная семь раз шестью видимыми различными алфавитами и мыслимыми и объединяющим их седьмым — числовым. Все эти шесть видимых алфавитов составлены из элементов: первый, второй, третий, четвертый и пятый. Все их можно заменить цифрами, указывающими, какие элементы входят в комбинацию, соответствующую данной букве. Попытавшись сделать эту подстановку цифр на место элементов, я получил двадцать три числа, составленные из цифр: 1, 2, 3, 4, 5, соединенных последовательно. Напр. первая буква первого слова формулы — «С» во всех алфавитах получается соединением первого и второго элементов, — ее можно прочесть: «первый, второй элемент», сокращенно: «первый, второй», цифрами это может быть изображено, как: один — два, а числом: — «12». Вторая буква первого слова формулы — «й» во всех алфавитах изображена одним пятым элементом и потому может иметь цифровое обозначение — «5». Третья буква того же слова «ф» изображена комбинацией первого, второго и пятого элементов знака алфавита — может быть прочитана как: первый, второй, пятый или цифрами: 1, 2, 5, а вместе числом — «125». Четвертая буква этого слова — «т», обозначается третьим элементом знака, может быть прочитана «третий» — три и обозначена цифрой «3». Первая буква второго слова Брэмз — «Б» — во всех пятиэлементных алфавитах обозначена комбинацией первого и третьего элементов алфавитных знаков, и может быть прочитана как: первый третий, один — три, и изображена числом «13». Тем же способом все следующие буквы формулы могут быть обозначены соответствующим им числами 24, 2, 235, 135 для следующих букв слова Брэмз, — 14, 134, 234, 23, 25, 35 для букв слова «Вышнуп», — 145, 1, 123, 15 для букв слова «хожд» и 124, 4, 34 и 45 для букв слова «Калг».

¹⁾ Эта схема теми же знаками и цветами изображена на концах пальцев руки, держащей треугольник, как указание на то, какой палец руки нужно двигать, чтобы оставилась комбинация, соответствующая той или иной букве.